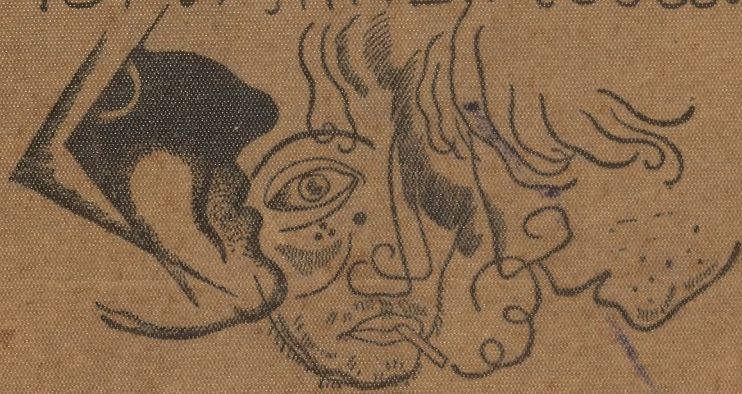


ЮР. ЮРКУНЪ.

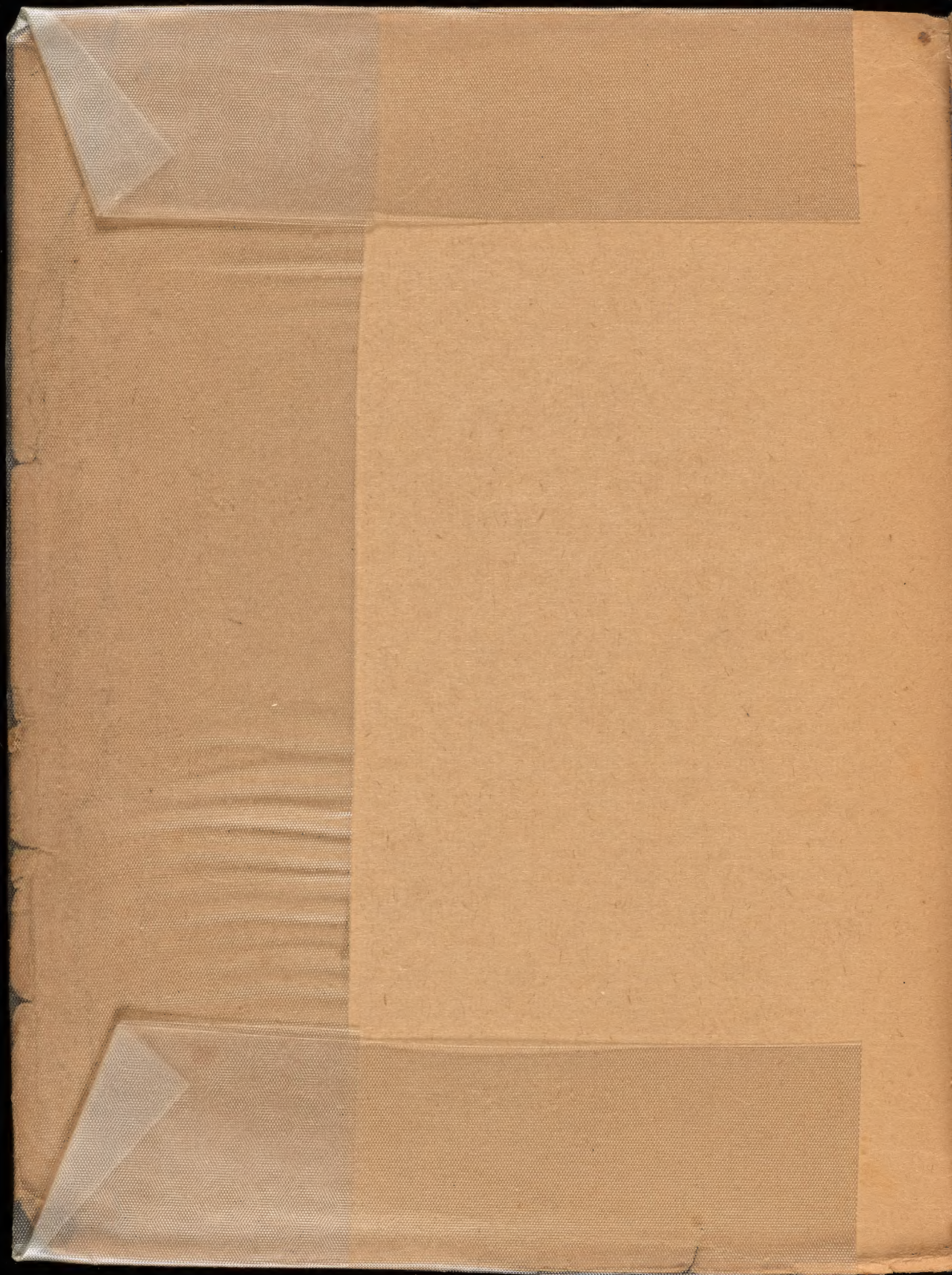
ДУРНАЯ КОМПАНИЯ.

Рисунки  
ЮР. АННЕНКОВА.



изд. „ФЕЛАНА“ 1918 г.  
ПЕТЕРБУРГЪ,







Августъ Кампанелли  
Редмандан  
Въ здрогъ Бессондар  
ростомъ и здрогъ  
мъ 1920-1-февраль  
Мр. Ларан

Ю. ЮРКУНЪ.



**Книги Того-же автора.**

Разказы написанныя на Кирочной ул. въ домъ  
подъ № 48. Обложка раб. А. Божерянова изд. „Луко-  
морье“. П.Т.Г. 1916 г. Ц 1 р. 50 к.

---

Шведскія перчатки. Романъ въ 3 частяхъ съ пре-  
дисловіемъ М. Кузмина. Изд. М. И. Семенова. Пе-  
тербургъ 1914 г. Ц. 1 р. 50 к. (распродано).

---

Туманъ за рѣшеткой. Романъ (готовится).

---

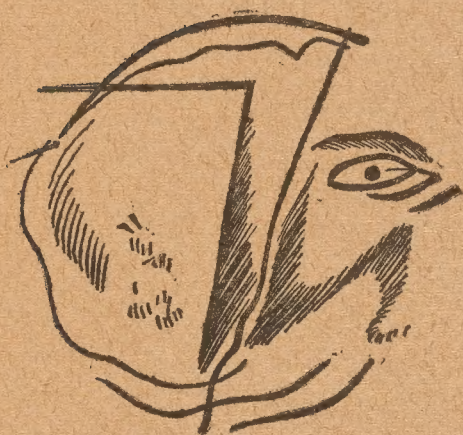


Ю. ЮРКУНЪ.

# ДУРНАЯ КОМПАНІЯ.

РИСУНКИ

Ю. АННЕНКОВА.



ПЕТРОГРАДЪ 1917 г.



ТИП. Т-ВА „ХУДОЖ. ПЕЧАТНЯ“. ДЕМИДОВЪ, 4.



ДУРНАЯ КОМПАНІЯ.



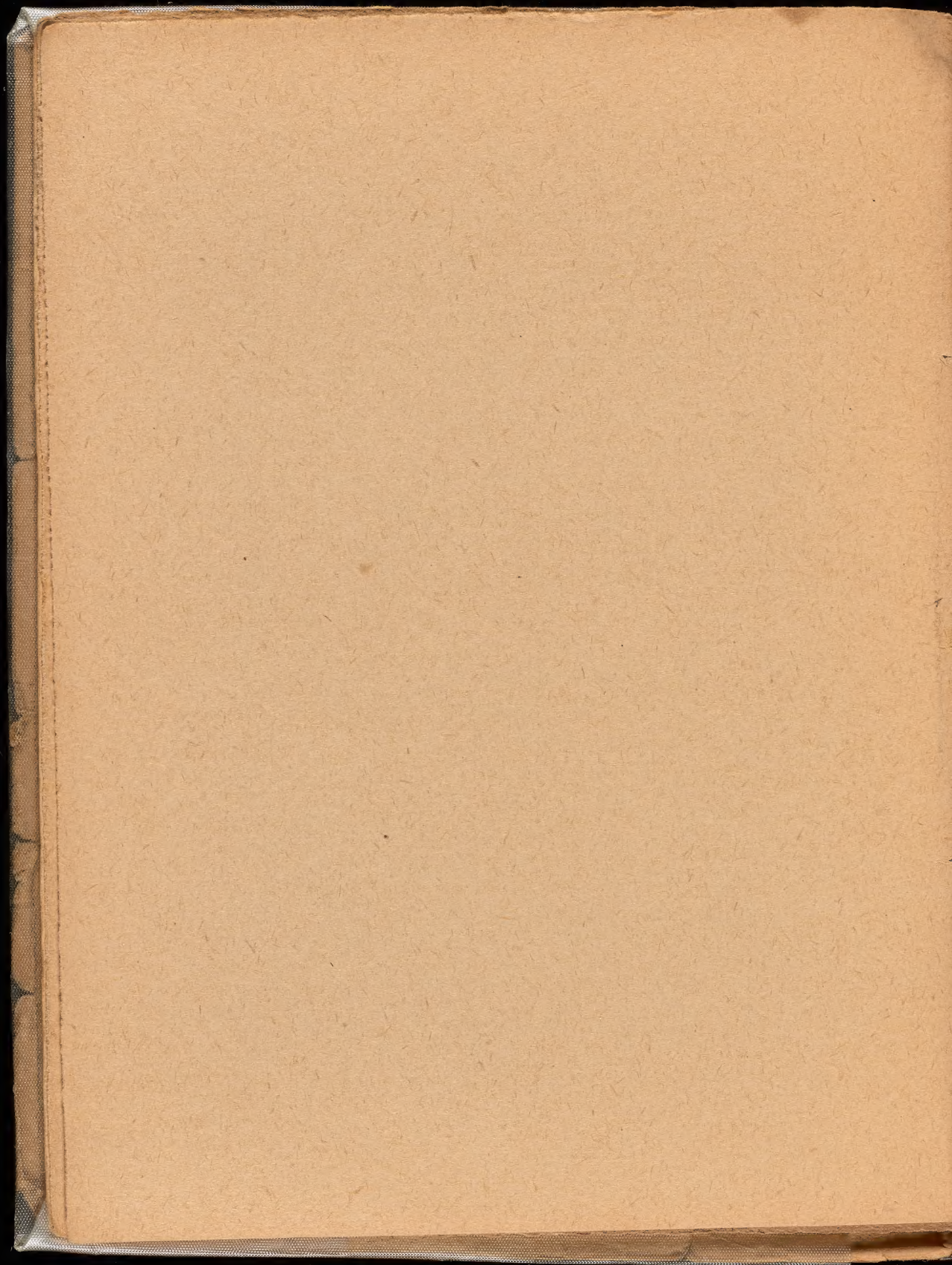
С. Ю. СУДЕЙКИНУ.



# ОГЛАВЛЕНІЕ РИСУНКАМЪ.

	Стр.
Господинъ Зацкеръ . . . . .	5
Пичунась . . . . .	11
Химическій карандашъ . . . . .	16
„Во вторникъ я ей подарю чудесные панталон- чики“ . . . . .	19
„Пробѣжала уже не молодая, съ короткими но- гами женщина“ . . . . .	26
„Перья / которой, какъ вентиляторъ въ банѣ обдають Пичунаса душистой прохладой“ . . . . .	43
„Порывомъ бури сорвало у него съ головы легкую осеннюю шляпу“ . . . . .	50
„Сіяетъ, сіяетъ звѣзда!“ . . . . .	59
Палка г. Зацкера . . . . .	62
„Слава приходитъ поздно!“ . . . . .	67
„Почему вы мевя зовете Зосей?“ . . . . .	77
„Глянули на Яна темные, обведенные вокругъ жирными рѣсницами глаза“ . . . . .	91
„Шума воды не слышно“ . . . . .	103
„Затянулъ въ носъ негритянскую пѣсню“ . . . . .	123
„Конецъ неба былъ выкрашенъ въ золотисто- красную краску“ . . . . .	139
„Милостивыя государыни и милостивые госу- дари“ . . . . .	161
„Есть такія пансіонерки—цѣликомъ въ бѣлыхъ платъицахъ“ . . . . .	177







## ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Что произошло въ нотной лавкѣ и что случилось тамъ, гдѣ артисты не платятъ. Нѣчто о химическихъ карандашахъ и т. п.

За піанино сидитъ щупленькій таперъ съ огромной отъ поэтической шевелюры головой. Волчій воротникъ такъ же огромень, а пальто облегаеъ плотно, плотно щуплую, какъ сказано выше, фигуру.

Склонивъ въ сторону играющаго нормальнаго размѣра голову, съ чуть непокорными свѣтлыми волосами, молодой приказчикъ раздумчиво ознакамливаетъ друга со своей біографіей.

— Отецъ—столяръ, добрый, но строгій, доброты своей онъ никогда почти не проявляетъ, все дѣлаеъ нахмурившись, но это никому не мѣшаеъ видѣть въ немъ добраго человѣка, до сына включительно, котораго ежедневно



онъ награждалъ тумаками. Мать—святая, покорная во всемъ мужу. Какъ минуло сыну шестнадцать лѣтъ, отецъ категорически попросилъ его перейти на самостоятельный свой хлѣбъ. И такъ какъ другъ отца—торговецъ гармоніями—заподозрилъ въ молодомъ человѣкѣ недюжинныя музыкальныя способности, то рѣшено было отдать его въ нотный магазинъ. Случайно нашлось такое мѣсто, что лучшаго и пожелать нельзя было—по увѣренію того же гармоньщика. Такъ онъ и началъ службу.

Въ біографіи были еще интимныя стороны, изложить которыя приказчикъ могъ, лишь почувствовавъ въ данную минуту приливъ особаго расположенія къ таперу. Вдохновившись одухотвореннымъ выраженіемъ лица послѣдняго, или заподозривъ глубокій умъ, чему содѣйствовали въ значительной мѣрѣ въ глазахъ настроившагося на высокую мечтательную экзальтированность приказчика, — пенснэ въ черепаховой оправѣ на выразительно-музыкальномъ носу тапера, молодой человѣкъ приступилъ съ глубокимъ вздохомъ къ освѣщенію нѣкоторыхъ интимныхъ фактовъ.



— Она—это такая, какихъ нѣтъ. Увидя ее, вы въ этомъ убѣдились бы. Сама она полная, румяная, но сердце у нея удивительное, душа—необыкновенная, словомъ, вся—верхъ необыкновенности. Въ первую же свою встрѣчу они открыли большое сходство во вкусахъ и взглядахъ. Обоимъ нравилось геройство, храбрость; много говорили объ акробатахъ... Она мечтала сдѣлаться наѣздницей, а онъ таилъ про себя грезу стать жонглеромъ. Жонглировать горящими факелами—это было верхъ волшебнаго идеала. Обоихъ ихъ волновали провинціальныя праздничныя гулянія... Ахъ, онъ такъ же далекъ былъ отъ столярничества своего отца, какъ и она отъ всякой любви къ военному дѣлу. Самъ собою установился трогательный этикетъ, переступить котораго оба не рѣшались: не появляться, гдѣ бы то ни было, вмѣстѣ и не ложиться спать позже семи. Встрѣчались и прощались долгое, очень долгое время безъ пожатія рукъ и даже безъ малѣйшаго наклоненія головы.

— Пора домой.

— Заругается мама.



— Завтра на томъ же мѣстѣ.

И расходились, разбѣгались даже точнѣе, одинъ въ одну, другая въ другую сторону.

Таперь, желая выказать довѣрившемуся полное сочувствіе, извлекаетъ черными, закоптѣлыми пальцами изъ желтыхъ и синихъ клавишъ цѣлую бурю разсыпчатыхъ нотъ, сладкую заплескивающую волну аккордовъ, опять обратную гамму и плавный, густой, какъ сиропъ, вальсъ.

— „Оберонъ“ въ двѣ руки—господина Вебера... Оперы рядомъ съ господиномъ Верди!

— Рядомъ съ Вагнеромъ,—поправляетъ, не оборачиваясь и не отрываясь отъ піанино, таперь.

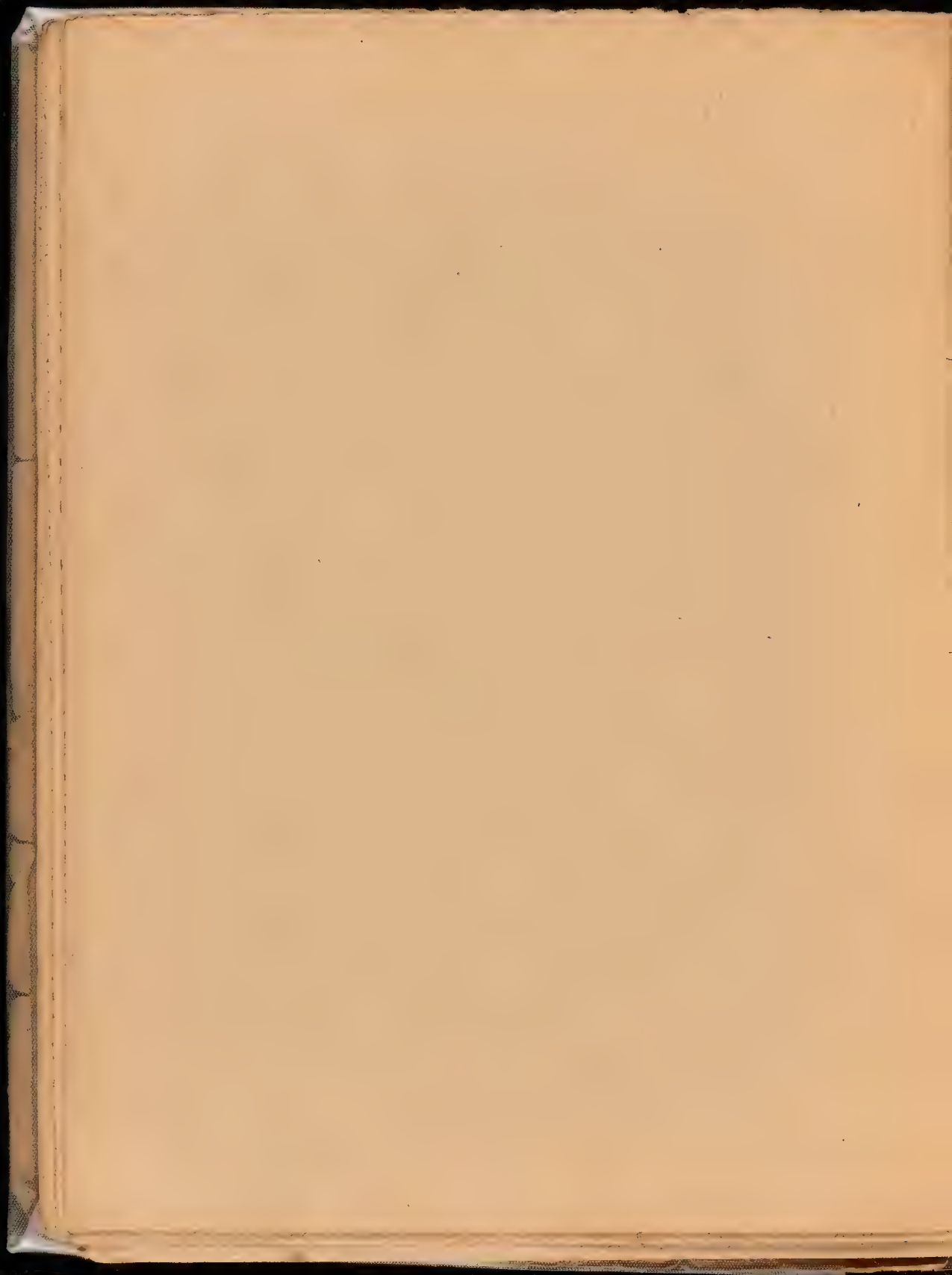
— Совершенно вѣрно, господинъ Зацкеръ, рядомъ съ господиномъ Вагнеромъ, то есть между господиномъ Вагнеромъ и Верди. Не прикажете-ли еще чего?

Музыка прерывается. Прикоснувшись широкимъ жестомъ къ стальной пружинѣ пенснэ и откинувъ голову, чтобы волосы легли въ обычномъ порядкѣ, господинъ Зацкеръ всталъ. На разстояніи протянутой руки онъ замѣчаетъ











женщину въ богатомъ манти, расплачивающуюся у кассы. Глаза господина Зацкера окидываютъ знатока взглядомъ всю ея фигуру отъ спины до высокихъ каблуковъ. Женщина обращается и, не поднимая грубо, но не безъ нѣкотораго благородства, растушеванныхъ вѣкъ, прячетъ деньги въ бисерный кошелекъ, а затѣмъ и его въ ридикюль, черный, муаровый, съ червоннаго золота рамкою и замкомъ. Послѣдній, будучи уже закрытъ, совершенно неожиданно раскрывается и выбрасываетъ золотую коробочку, которая подкатилась-бы подъ піанино, еслибъ музыкальная проворная рука господина Зацкера не остановила ея. Дама секунднымъ блескомъ зубовъ и легкой искривленностью рта выражаетъ благодарную улыбку таперу. Ротъ женщины—воспаленный, влажный; руки узки и длинны пальцы. Примѣтивъ все это, господинъ Зацкеръ, провожая глазами карету, говоритъ съ сознаниемъ полной цѣны своимъ словамъ:

— Это —нѣчто!

Молодой приказчикъ, все еще не пришедшій въ себя, возвращается опять къ піанино,



готовый окончить разъ начатое признаніе, хотя бы даже передъ пустымъ стуломъ. Но его прерываетъ голосъ хозяина, призывающій къ закрытію магазина.

Шапка господина Зацкера, также волчьяго мѣха, чуть вылинявшаго, съ прорѣхами, откуда выглядываетъ сѣрая вата. Пальто запятнано большими кругами, блестятъ локти и петли для рыжихъ пуговицъ окружены разноцвѣтной бахромой жирныхъ нитокъ шерсти.

Приказчикъ въ своемъ скромномъ, простомъ, но за то болѣе холодномъ пальто, поспѣваетъ за таперомъ, ежась и засунувъ глубоко въ карманы руки. У господина Зацкера есть перчатки съ прорвавшимися и протершимися пальцами, лайковыя перчатки, черныя, ихъ господинъ Зацкеръ не безъ элегантной граціи застегиваетъ нѣсколькими секундами долѣе обычнаго времени нужнаго на это.

Приказчикъ не столь опытными, какъ у тапера, ногами скользитъ на каменномъ оледенѣломъ тротуарѣ. Друзья поспѣшаютъ, буря ихъ обдастъ ледяными вѣтрами, тѣ колютъ щеки и уши, распаляютъ до слезъ и красноты глаза.



Трескъ, какой вызываютъ полозья мчащихся быстро саней, похожъ на длинный трескъ стекла подъ давленіемъ алмаза. Терпкій хрустъ моторныхъ шинъ сливается съ какимъ то хрустальнымъ звономъ колокольчиковъ и бубеньчиковъ.

Друзья остановились у большихъ воротъ, огромные фонари которыхъ зажигали на небѣ зарево, пестрые плакаты манили таинственностью изображаемыхъ сценъ. Приказчикъ читалъ либретто, помѣщенное подъ стекломъ въ рамѣ, и, окончивъ, посѣтовалъ на то, что не было денегъ. Таперь притронувшись широкимъ жестомъ къ пенснэ, галантно указалъ дорогу ко входу.

—Какіе пустяки,—замѣтилъ онъ,—артисты никогда не платятъ! —

Господинъ Зацкеръ сквозь толпу надутыхъ, важныхъ людей, дамъ въ богатыхъ нарядахъ, незастѣнчивыхъ молодыхъ щеголей, пробирался съ сознаніемъ своихъ хорошихъ качествъ, совершенно забывъ о шелковистыхъ локтяхъ и жировыхъ пятнахъ на пальто съ рыжимъ воротникомъ. Зато приказчикъ, помня это все,



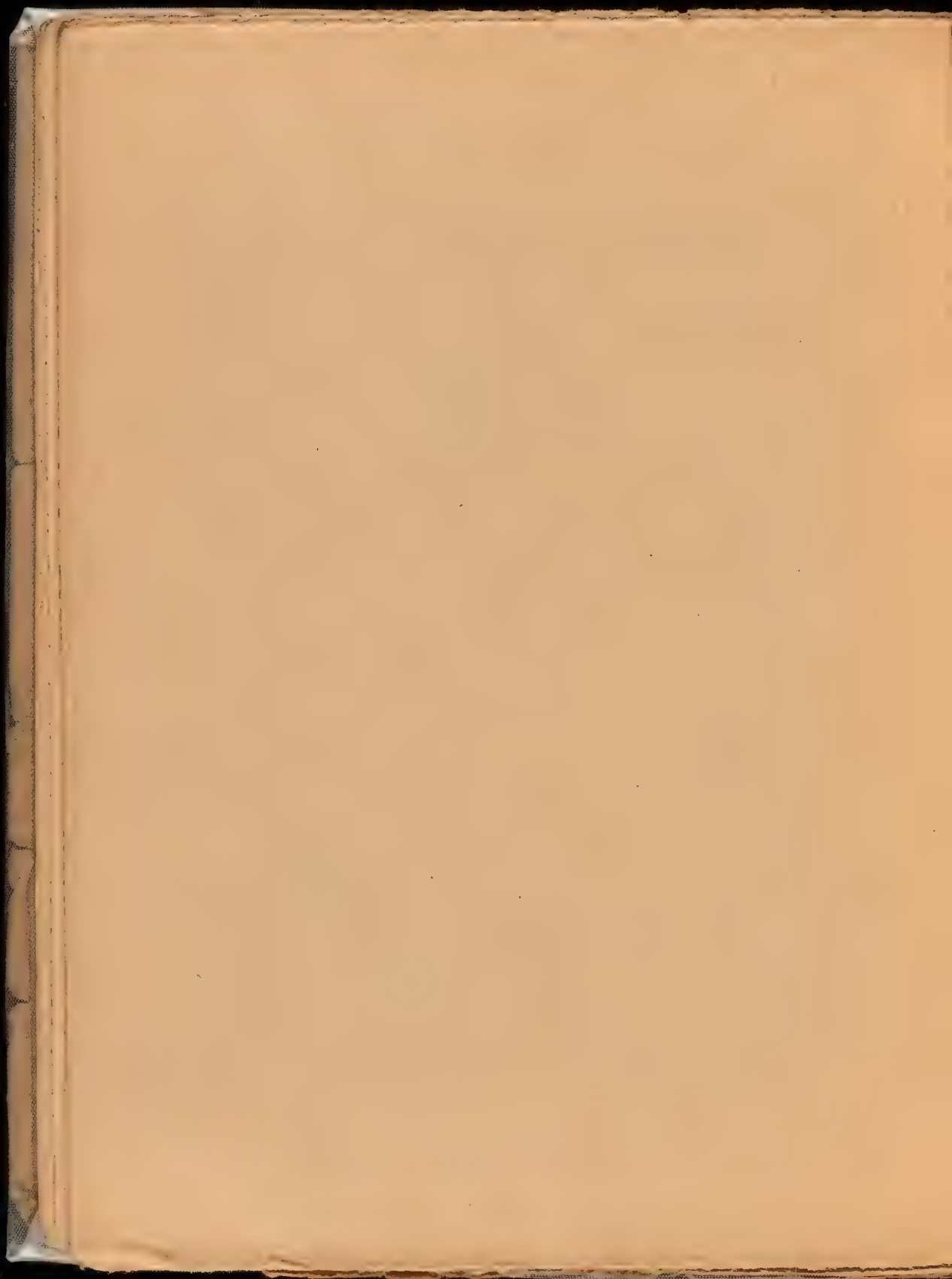
разгораясь яркимъ пурпуромъ за тапера, готовъ былъ провалиться сквозь землю. Сильное жужжаніе толпы и въ отдѣльности ея смѣхъ онъ всецѣло принималъ на свой счетъ, въ душѣ почти до слезъ упрекая, державшагося развязно, музыканта.

Ужъ господинъ Зацкеръ поправлялъ свое проклятое пенснэ, озаривъ смуглое съ рѣзкими крупными чертами лицо улыбкою, а полная черная, прекрасная еврейка въ ярко-зеленой кофтѣ, съ бѣлымъ жабо на непроизвольно волнующейся большой груди, отстригала ножницами двѣ квадратныя бумажки, предварительно на обѣ наложивъ печати цвѣта, такъ называемыхъ, „химическихъ карандашей“, а дошедшій въ своемъ огненномъ румянцѣ до крайнихъ предѣловъ, приказчикъ облегченно вздохнулъ въ надеждѣ, что скоро можно будетъ укрыться отъ душныхъ и жаркихъ взоровъ толпы въ укромный уголъ,—какъ колебались разомъ всѣ три красныя, обшитыя по бокамъ потемнѣвшимъ золотомъ, портьеры, скрывавшія за собою огромныя отверстія безъ дверей, и изъ cadaго въ залу выхлы-











нули въ многоцвѣтныхъ перьяхъ шляпы, черные кружки котелковъ и лучистые верхи цилиндровъ.

Приказчикъ увидѣлъ это все съ галлерей, и какъ скоро вышедшіе стали поднимать головы вверхъ и глядѣть на баллюстраду, его безпокойство возросло втройнѣ.

— Я несчастень, господинъ Зацкеръ,— произнесъ, потупляясь и робѣя, приказчикъ, когда они сидѣли уже на мѣстахъ и таперъ закоптѣвшимъ платкомъ протиралъ пенснэ,— Я чувствую, что краснѣю, представляю себя очень жалкимъ и еще того больше смѣшнымъ. Я готовъ провалиться сквозь землю, когда кто нибудь на меня поглядить. У меня чудаковатое лицо, я это знаю, мнѣ это и Марія говорила.

— Ну, что вы говорите? Зачѣмъ же такъ смущаться? Лицо у васъ довольно красивое.

— Это тѣмъ хуже, если вы правду говорите, господинъ Зацкеръ, потому что моя мать мнѣ вычитала изъ книги, что мужчинѣ, незнающему никакого положенія, неприлично быть красивымъ.



— Успокойтесь, дорогой Пичунасъ, вы какъ разъ въ той мѣрѣ красивы, какъ подобаетъ вашему положенію.

— Осмѣлюсь васъ попросить описать мнѣ мою наружность... Мнѣ такъ неловко, что я объ этомъ васъ прошу; должно быть, это смѣшно, но мнѣ такъ интересно...

Господинъ Зацкеръ, вѣроятно, прикоснулся еще болѣе широкимъ, чѣмъ обычно, жестомъ къ стальной пружинкѣ,—этого приказчикъ не видѣлъ, такъ какъ повернулся профилемъ къ сосѣду, но угадалъ изъ того, что таперь передъ кѣмъ-то извинился.

Убавившійся было румянецъ, вновь загорѣлся.

— У васъ сильно розовыя щеки...

— А это какъ, очень плохо?

— Нѣтъ, отвѣчалъ задумчиво таперь.— Щеки какъ бы покрыты пухомъ, волоса бѣлые... Въ общемъ вы похожи на финскаго юношу... спортсмена.

— Я—полякъ.

— Тогда, судя по фамиліи, вы литовецъ?

— Моя мать ненавидѣла литовцевъ.



Послѣ краткаго молчанія г. Зацкеръ спросилъ:

— Вы любите женщинъ?

И не получивъ опредѣленнаго отвѣта, кромѣ не то мычанія, не то вздоха, продолжалъ:

— Женщинъ... при вечернемъ освѣщеніи, подрумяненныхъ, напудренныхъ, съ подведенными глазами! Ахъ, я люблю ихъ такими! Вы помните ту женщину, что приходила передъ закрытіемъ магазина, она еще выронила пудреницу, которую я поднялъ. У нея были подведены глаза... Но по душѣ, по настоящему мнѣ нравятся другія...

Таперь взялъ подъ руку Пичунаса и указалъ ему на боковую галлерею.

— Смотрите: вотъ та, шестнадцатая слѣва, что свѣсила съ перилъ яркій испанскій платокъ... Жирная! вѣроятно, потная!.. Ахъ, какъ я люблю потныхъ женщинъ! Круглое лицо ея разгорячено, черные сверкающіе глаза меня пьянятъ...

И весь ужасъ для Пичунаса былъ въ томъ, что таперь Зацкеръ свое ужасное признаніе

выкрикивалъ пронзительно пискливымъ голо-  
сомъ на весь театръ. Всѣ оборачивались, гля-  
дѣли на нихъ.

Донеслись-ли слова эти и до самого пред-  
мета Зацкеровой страсти, только она засмѣ-  
ялась,.. нѣтъ, заржала даже, приподняла жир-  
ныя плечи, оскалила яркіе зубы и тряхнула  
какъ то не по человѣчьи большой головой  
въ высокой, высокой прическѣ.

Этого ужъ никакъ не могъ выдержать ли-  
товецъ. Онъ поднялся, краснѣе клюквы, багря-  
нѣе заката, въ его глазахъ начали прыгать  
большіе шары цвѣта, такъ называемаго „хи-  
мического карандаша“... И пока онъ бѣжалъ  
по галлерей, а потомъ по лѣстницѣ, чудилось  
ему, что полъ превратился въ матрацъ, сплошь  
набитый пружинами, отъ этого ноги его, какъ  
ему представлялось, поднимались неестествен-  
но высоко. Много нужно было самооблада-  
нія, чтобы не упасть, или не покатиться съ  
лѣстницы.

ХИМИЧЕСКІЙ КАРАНДАШЪ



## ГЛАВА ВТОРАЯ.

О портретъ предка и панталонахъ, заканчивающаяся  
Копыткинымъ.

Передъ шкапнымъ зеркаломъ въ освѣщенной электричествомъ спальней, сидитъ на низкомъ стулѣ для лилипутовъ, въ длинной, бѣлой ночной съ кружевами рубашкѣ, горбатый уродъ. Черты его лица непомѣрно рѣзки и огромны, что то лошадиное проглядываетъ въ нихъ. Въ лицѣ нѣтъ определенной отталкивающей непріятности, наоборотъ, есть какая то занятность въ крупности рта и отдѣльной оттопыренности въ мѣру коричневыхъ губъ. Волосы съ яркою прорыжью разобраны въ проборъ, какой принято звать „безукоризненнымъ“. И чѣмъ упорнѣе обладатель этого пробора старается своему чудаковатому лицу придать строгую мину, тѣмъ уморительнѣй выглядить линейка, обнаруживающая бѣлую пер-

хоть, выбившуюся изъ подъ набріюлиненныхъ волосъ.

Глаза отраженія щурятся въ предательски лукавую усмѣшку.

— Жанъ!—звенить голосъ уродъ серебристымъ контральто,—Жанъ!

— Иду, господинъ!— отвѣчаетъ изъ раскрытыхъ дверей сонный мужской, въ противоположность высокому женскому голосу уродъ, очень низкій голосъ.

— Жанъ!—капризничаетъ уродъ.

— Не могу же я, господинъ, пришить разомъ всѣ пуговицы, которыя вы оборвали.

— А ты хорошо меня отсюда слышишь?

— Какъ нельзя лучше.

— Вотъ и врешь! Слышать меня лучше можно, стоя рядомъ со мной.

— Совершенно справедливо.

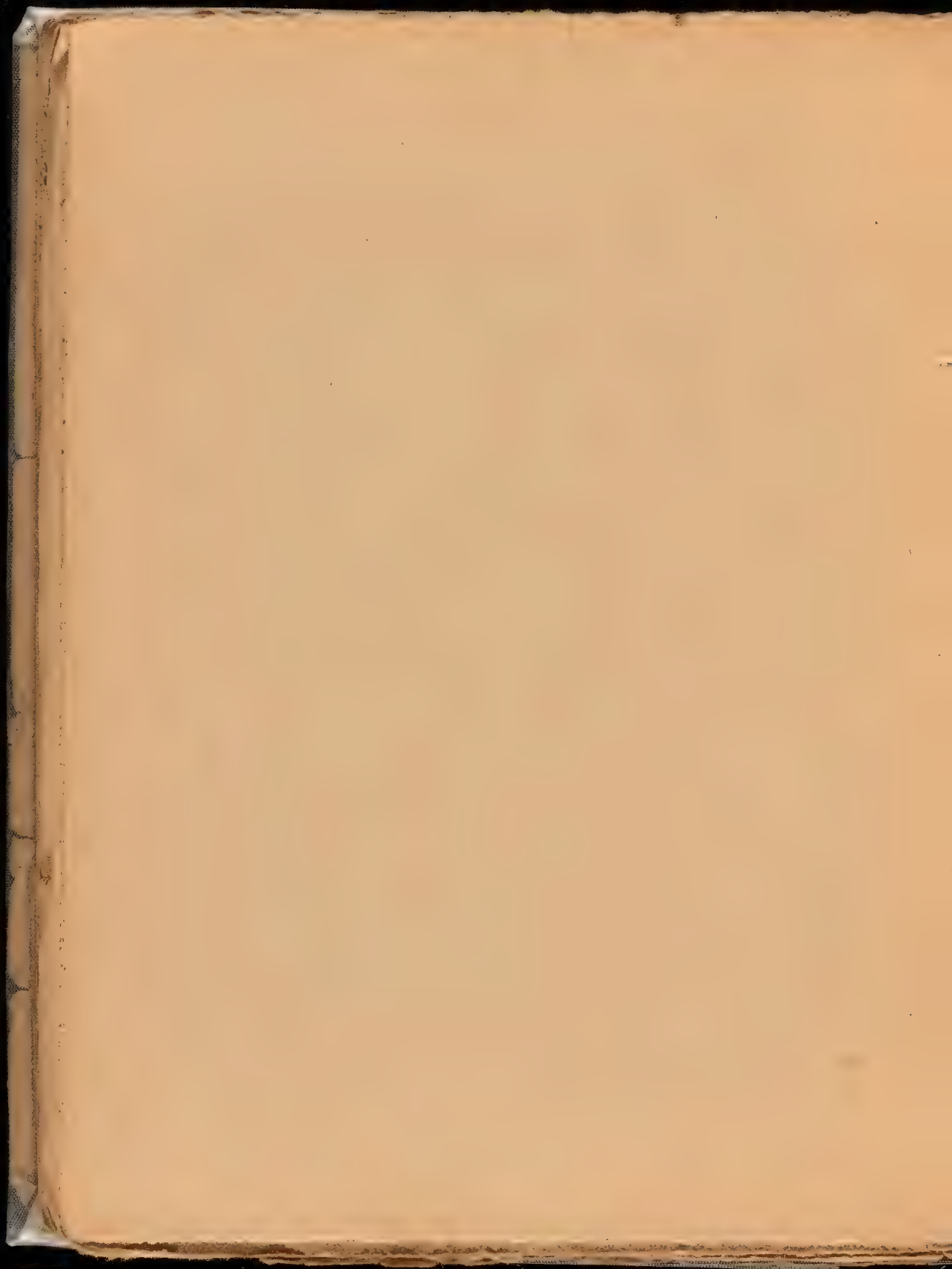
— Да, да, да!!!—вызваниваетъ тонкій голосъ.

И уродъ маленькими руками ударяетъ себя по обѣимъ щекамъ.

— Во вторникъ я ей подарю чудесные панталончики.









— Это на тѣ деньги, которые вы выручили отъ продажи стариннаго портрета вашего прапрадѣда?

— Угу!..—Пропѣлъ въ носъ уродъ.

— Не хо-ро-шо...—какъ то сквозь зубы отвѣтилъ басъ.

— Для моей милой канареечки мнѣ ничего не жалко.

— Вотъ и тратили бы деньги изъ сундука, что въ стѣнѣ у васъ подъ кроватью.

Уродъ соскочилъ съ своего маленькаго креслица и забѣгалъ по ковру. Онъ былъ босой, такъ что не рѣшался ступить на голый полъ, а чтобы заглянуть въ раскрытыя двери, откуда исходилъ голосъ, нужно было сдѣлать это: поэтому, чтобы не рисковать здоровьемъ, онъ ограничился только вытягиваніемъ своей не очень короткой шеи и то лишь въ самыхъ горячихъ мѣстахъ своего монолога.

— Какой болванъ тѣбѣ сказалъ, что я въ стѣнѣ подъ кроватью держу какой-то дурацкій сундукъ?.. А?.. Выкинь ты, пожалуйста, это сейчасъ изъ головы, не то я тебя продамъ тому же самому разбогатѣвшему идиоту, кото-

рый въ настоящее время занятъ приобрѣтеніемъ себѣ предковъ. У тебя кстати и достаточно глупый видъ, чтобы ты его могъ очаровать имъ. „Лакей изъ стараго барскаго дома“... Эка невидаль! Теперь вами хоть прудъ пруди, да никому въ васъ нужды нѣтъ... Вотъ! дуракъ! Такъ я храню деньги?.. Выбрось, сейчасъ же выбрось у меня это изъ головы!.. Ха!.. Зачѣмъ бы я тогда продавалъ портреты предковъ, ларчики, медальоны, фамильное серебро, ну, и прочую тамъ фамильную дрянь?

— Я беру, господинъ, всѣ свои слова обратно. А вотъ возьмите ваши штаны.—

Съ этими словами въ комнату вошелъ жилистый, сухой въ сюртукѣ слуга, съ водевильными баками изъ скверныхъ сѣро-рыжихъ фальшивыхъ волосъ.

— Какъ?!—воскликнулъ уродъ, нерѣшительно принимая штаны,—Ты отказываешься мнѣ служить?

— Ничуть не бывало, господинъ,—возразилъ слуга.

— А!..—довольно протянулъ уродъ, осматривая штаны.—Такъ ты свои слова обратно



берешь? Въ такомъ случаѣ твои слова ничего не стоятъ,.. хи-хи!.. Слова твои дрянъ... хе-хе!...

Уродъ возвратился на прежнее мѣсто, то-есть на стульчикъ для лилипутовъ, стоящій передъ зеркальнымъ шкапомъ.

— Скажи, не находишь-ли ты,—началь уродъ самодовольно натягивая брюки,—что я веду, какъ будто, ненормальный образъ жизни?.. а? Въ полночь одѣваюсь, покидаю домъ...

— Оно точно, ненормально!

— Совсѣмъ какъ какая нибудь восемнадцатилѣтняя сволочь... А?.. Хи-хи!..

— Совершенно справедливо. Какъ какая нибудь сволочь!

— Хи-хи-хи... хе-хе-хе!—заблеялъ уродъ,—Ваше превосходительство! Ихъ превосходительство!..—захлебывался уродъ,—важенъ, страшенъ! А на самомъ дѣлѣ ихъ превосходительство влюбленъ, какъ какой нибудь тамъ восемнадцатилѣтній щенокъ!.. Ахъ, дуракъ, дуракъ!—закативъ глаза, мечтательно продолжалъ дальше его превосходительство,—какъ

прекрасна моя кенареечка! Ручки, пальчики... а ножки!?. Дуракъ, дуракъ, это не ножки..., а... а какое-то восхитительное неприличіе...

Вдругъ онъ запечалился. Не смотря на рѣзкія огромныя черты, его лицо обладало какой то воздушной, трогательной хамелеонностью, какая бываетъ только у дѣтей, или у очень ужъ милыхъ женщинъ. Почти въ одно и то-же время изображалась на немъ грусть и улыбка, огорченіе смѣнялось скоро крайней радостью.

— Зачѣмъ только у нея бываетъ такъ много всякаго сброду? Какіе то пажи, двѣ старыхъ перечницы съ сильными пенснэ въ петлицахъ, двѣ макаки и съ десятокъ шулеровъ, пріятелей ея мужа.

Онъ опять умилился.

— Изъ всѣхъ она мнѣ оказываетъ предпочтеніе. Комнаты у нихъ тамъ высокія, съ полумракомъ... Заберемъ это мы съ нею въ уголь... Тамъ шушера въ карты играетъ... „Пистолеты“ на дуэль другъ друга вызываютъ... Попрошу съ ножки ея божественной снять



чулокъ и сижу, пальчики ея обсасываю... Пальчики то у нея скоро какъ у младенца будутъ — косточки однѣ... — все высосу!..

— Вы что же вампиромъ будете?

— Хи-хи-хи!.. Вампиромъ! Отчего же и не вампиромъ? Мнѣ это нравится... Я сто рублей далъ бы, позволь только она мнѣ свой самый маленькій пальчикъ откусить.

— Не выгодно, вѣрно! Такую сумму вы и такъ ей безъ откуса не разъ уже, вѣроятно, давали.

— Давалъ, давалъ, дуракъ... Ахъ, какъ она хороша, какъ хороша!! Въ ея будуарѣ даже вещи, кажется, пропитаны ею: за что ни возмусь, кровь волнуется, бурлитъ кровь и льется потоками, какъ грязь въ дождь на старыхъ еврейскихъ улицахъ. А ты, дуракъ, любилъ ли когда кого? Вѣроятно, попусту время тратилъ на слова, сюсюкалъ, стоналъ, пищаль. А? Не понять тогда тебѣ моей любви. Моя канареечка молчитъ, за голову ручки забросить, на козеткѣ протянется... Пахъ! пахъ! — капотикъ распахнется ножки наружу... — Дуракъ, ничего тебѣ не понять...

— Совершенно справедливо, не для чего и рассказывать.

— А ты вообразилъ, что для тебя я рассказываю... Тебѣ тутъ изливаюсь? Жестяной лобъ! Мнѣ самому пріятно!..

— Поэтому я могу уйти?

— Э... нѣтъ. Остайся!!!

Уродъ подпрыгнулъ и сѣлъ на кровать.

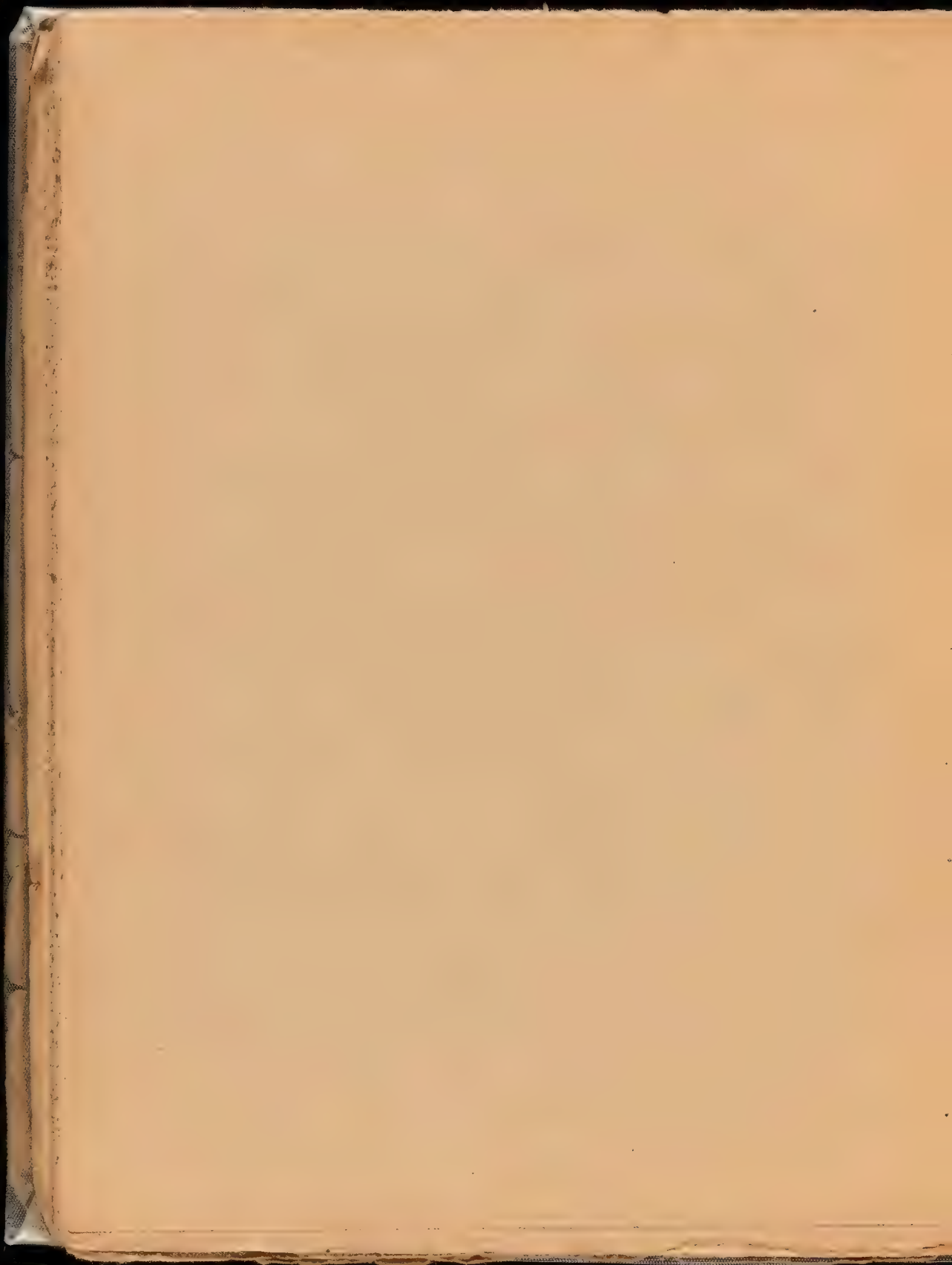
— Зашнуруй щиблеты! — сказалъ онъ и вытянулъ ноги. — Сегодня въ совѣтъ, — продолжалъ онъ, — я около часу промучился съ кошкой, къ хвосту привязывалъ бантъ и выкрасилъ лапы красными чернилами... Петръ съ улицы ее принесъ, какая то бродячая... А когда я спалъ, не приходилъ никто? Князь Федоръ не приползалъ?

— Никакъ нѣтъ!

— А Копыткинъ?









### ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

О семействѣ вахмистра и о томъ, куда поѣхала Марія, взявъ съ собою карточку, снятую въ фотографіи „Прелюдія“.

Еще свѣтъ начинающагося дня былъ синимъ, еще лучи солнца не вспыхивали надъ красною крышей полковаго цейхгауза, что виденъ былъ изъ окна квартиры вахмистра, на которомъ встрепанная со сна дѣвка съ махровымъ лицомъ румяной дуры только что подняла штору, — какъ все семейство почтеннаго капрала, пробудившись отъ сна, ожило, засуетилось.

Первою изъ за ширмъ турецкой рыжей матеріи черезъ комнату солидную, выдержанную въ строгомъ стилѣ и чистотѣ настоящихъ вахмистрскихъ, пробѣжала ужъ не молодая съ короткими ногами женщина, съ распущенными волосами, въ ночной рубашкѣ съ силь-

нымъ вырѣзомъ на груди и съ собранными и запрятанными въ панталоны длинными, судя по вздутости матеріи на бедрахъ, полами. Пробѣжавшая была женою главы; за нею вскорѣ выступилъ изъ за тѣхъ же турецкихъ ширмъ и самъ глава въ высокихъ сапогахъ и въ брюкахъ, только еще безъ мундира.

— Маша, непокорная точь, вставай!—сказалъ онъ, зѣвая во весь ротъ, и вытянулъ высоко къ потолку руки.

— Папашка! я давно встала и ужъ одѣта, —донесся женскій голосъ изъ за стѣны, въ которой была низкая дверь.

— Папашка! Доброе утро!

Съ послѣдними словами въ эту почтенную, уважаемую комнату вошла молодая дѣвушка скорѣе массивная, чѣмъ полная, не высокаго роста, съ лицомъ на рѣдкость незатѣйливымъ, простымъ и краснымъ. Она поцѣловала отца въ рѣдкіе, рыжіе подусники, подусники традиціонно вахмистрскіе, оживающіе при волненіи и застывающіе сталью при торжественности.

— Непокорная, не-по-кор-на-я точь! Пофторяю, непокорная, еще расъ пофторяю...



Безцвѣтные глаза красавицы съ небольшими дырками вмѣсто зрачковъ потупились и она отошла къ четырехугольному столу, покрытому бѣлой простой работы скатертью, имѣющей по срединѣ большое желтоватое пивное пятно.

— Скажи мнѣ только, на Божію милость, непокорная точь, зачѣмъ тибѣ этотъ пустой брюха Пичунасъ?

Дочь молчала, вода кривымъ короткимъ пальцемъ по скатерти.

— Красивый ты у меня точь, умный, жениховъ тебѣ можно найти много. Зачѣмъ тебѣ Пичунасъ?

— Папашка, вы не поймете меня, — выкрикнула жалостно Марія, — я люблю его!

— Стоитъ онъ?.. Пустой брюха!.. А что ты скажешь, Марія Эрнестовна, когда я тебѣ не пускай къ нему?.. Я тибѣ—папашка... я не хочу, чтобы ты деньги ему дала. На такой пустой колофа деньги дала! Я тибѣ фъ пашни запру, фъ потсимелій спрячу...

Но капралъ на самомъ дѣлѣ былъ добродушный человѣкъ и никогда не сталъ бы пря-

тать своей дочери ни въ башнѣ, ни въ подземельѣ; это прекрасно знала и Марія, чьи слезы легко размыли его непреклонное рѣшеніе не отпускать дочери одною въ столицу, куда она собралась затѣмъ, чтобы отыскать своего, скорѣе пусто-голового, чѣмъ „пустобрюхого“, возлюбленнаго, который ничѣмъ не извѣщалъ ее второй или даже третій мѣсяць. Марія Эрнестовна разбогатѣла, получивъ отъ тетушки, умершей въ Америкѣ и отказавшей племянницѣ нажитый тамъ капиталъ, наслѣдство. Марія Эрнестовна какъ только получила изъ рукъ опекуна-нотаріуса часть денегъ, казавшуюся ей очень большою, такъ и почувствовала, сразу почувствовала, какъ только въ рукахъ ощутила яркія шелковистыя бумажки, что безъ Янка жить не можетъ больше ни минуты, ни секунды... сейчасъ же или умереть, или деньги отъ нея уйдутъ, исчезнутъ, улетучатся... въ рукахъ такъ вотъ ничего и не останется, какъ послѣ какогонибудь сладкаго сна...

Какъ она любила этого Янка! Хотѣлось ей его—лбомъ, носомъ приткнуть къ своей



груди, затылокъ его съ шишкой и жесткими льяными волосами придержать рукой, — и такъ на всю жизнь оставить въ этомъ положеніи. Не подумайте, пожалуйста, что за ея плоскимъ лбомъ не кишѣло иныхъ плановъ, не роилось другихъ романическихъ желаній, пробѣгавшихъ по жилкамъ, какъ по электрическимъ проволочкамъ въ голову изъ сердца цвѣта кармина, а формы самой неопредѣленной, похожей на печоночную. Нѣтъ, она умилялась и на луну, и нравилось бы ей, будь Янко жонглеромъ и жонглируй горящими факелами среди темноты, въ какую обыкновенно погружается циркъ на время исполненія подобнаго короннаго номера.

Янекъ Пичунасъ, когда они вмѣстѣ сидѣли у сапожника, этого волшебника, который всѣмъ въ дѣтствѣ казался волшебникомъ... Объектъ глубокомысленныхъ наблюденій, магнитъ вниманія, великій властелинъ колодокъ, деревянныхъ гвоздей и шила... Да?.. Такъ что же?

Сидѣла Марія вмѣстѣ съ Янкомъ... Какія мысли бродили въ ея головѣ? Чѣмъ картина эта была замѣчательна?

Былъ дождливый вечеръ; подъ воротами, гдѣ отпускались экипажи, они сошлись... Маріина мать дала отнести въ починку башмаки съ большими бугрышками отъ мозолей. Пичунасъ и Марія сидѣли у сапожника, пока тотъ кончилъ починку, потомъ разошлись... Смѣшно немного! Ну, хоть и смѣшно, а Марію слегка смутило это воспоминаніе... Теперь у нея длинная юбка!..

— Какой мало-мальски умный дѣвушка захочетъ дѣлать то, что ты,—ѣхать въ столицу? Пичунасъ тамъ иголка. Безумный ти дѣвушка!

И вахмистръ, отогнувъ воротъ розовой ночной рубашки, ушелъ умываться.

Матушка, женщина съ плоскимъ и разѣденнымъ оспою лицомъ, таинственно молчаливая, скользила по комнатѣ, какъ бы ища чего-то такого, что могло находиться на видномъ мѣстѣ и этимъ ее скомпрометировать.

„Каля миля ти биля фо фоле миноле“,—вылепетала она быстро, быстро, остановившись наконецъ передъ дочерью.

Та въ преувеличенномъ недоумѣніи пожала плечами.



Марію какъ бы качало, ей чудилось, что она ужъ въ вагонѣ и въ ушахъ раздавался грохотъ колесъ, будто проѣзжаютъ мостъ, сердце замирало въ испугѣ, что вдругъ поѣздъ свалится въ рѣку... но мостъ благополучно миновали. Марія вздохнула, обвела широкими глазами, послѣ минутной задумчивости, комнату. Обои показались болѣе свѣтлыми, чѣмъ были.

Рябая матушка со столь страннымъ выговоромъ, найдя, очевидно, то, чего искала, также покинула комнату.

Скоро всѣ пили кофе, потомъ провожали уѣзжающую.

Какъ только Марія сѣла въ вагонъ и поѣздъ тронулся, она вынула слегка замусоленный конвертъ и доставъ изъ него изображеніе Янка, произведенное въ ея родномъ городѣ, отъ котораго теперь все отдалялъ ее быстро несущійся поѣздъ, на большомъ проспектѣ въ фотографіи съ таинственнымъ именемъ „Прелюдія“, за цѣну приличную, тридцать пять копеекъ за дюжину, стала всматриваться въ его дорогое лицо, похожее на лицо малолѣтняго убійцы, словомъ не польщенное фотографомъ.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

О праздничномъ чувствѣ и о вечерѣ, проведенномъ необыкновенно. О чудной таинственной дамѣ, безчувственной мятели и, наконецъ, о сорванной шляпѣ.

О чувствѣ, какое наполняло бѣднаго приказчика изъ нотной лавки въ день... (точно неизвѣстно который) Рождества, или даже наканунѣ его,—можно было бы написать цѣлую книгу, но по недостатку времени и мѣста мы ограничимся...

Въ тотъ день, когда звѣзды свѣтились какими то особенными огнями, въ тотъ день, когда улицы были переполнены черными фигурами въ цилиндрахъ, котелкахъ и шляпахъ,двигающимися быстро съ тючками, свертками и пакетами такого же чернаго цвѣта въ рукахъ; въ тотъ день, когда окна гастрономическихъ, табачныхъ, фруктовыхъ магазиновъ были ослѣпительно красиво разцвѣчены свѣ-



тящимися бутылками, млѣющими слезами, покрытыми слюдой и блестками открытыми карточками, предназначавшимися для поздравленій...

Пичунасъ со старшимъ приказчикомъ, заперевъ на всячій большой и ржавый замокъ нотную лавку, не заглядываясь ни на какія, такъ и приковывавшія вниманіе, окна, направились нерѣшительными шагами въ одну и ту же сторону.

— Селестинъ Ксаверьевичъ, — задумчиво началъ младшій приказчикъ, глядя вдаль, гдѣ надъ темными крышами румянилось на небѣ зарево, — для всѣхъ людей праздники, или нѣтъ? Мнѣ вотъ кажется, что даже уличные фонари свѣтятъ только богатымъ людямъ. Вы прохаживаетесь смѣло и просто по панели, на что я никакъ не могу рѣшиться, когда иду одинъ. — Я сторонюсь.

Старшій приказчикъ, который въ эту минуту думалъ о женѣ, уѣхавшей къ роднымъ въ деревню, разсѣянно улыбнулся.

— Хорошо дѣлаете, Пичунасъ, что сторонитесь, иначе вы были-бы невѣжливымъ молодымъ человѣкомъ... А почему вы думаете,

что фонари свѣтятъ не для васъ, когда вы, благодаря имъ, не попадете въ грязь и выбираете менѣе скользкое мѣсто?

— Видите-ли, Селестинъ Ксаверьевичъ, сегодня фонащикъ столкнулъ меня съ панели лѣстницей.

— Э, стоитъ обращать вниманіе! Онъ былъ занятъ и, повѣрьте, сдѣлалъ это нечаянно, неумышленно... Но вы чѣмъ-то опечалены: не праздничнымъ-ли вечеромъ? Бросьте это!.. Сегодня нужно радоваться, забыть всѣ обиды... Вы чувствуете себя, вѣрно, страшно одинокимъ, какъ и я себя? Давайте по этому проведемъ сегодняшній вечеръ необыкновенно—весело и радостно!.. Слушайте...

Но въ эту минуту оба очутились на главной и самой большой изъ улицъ, гдѣ вся мостовая и тротуаръ сотрясались отъ ужаснаго шума, производимаго тысячью каретъ экипажей и пролетокъ. Въ воздухѣ, который здѣсь былъ сгущеннымъ отъ криковъ кучеровъ и дьявольскаго звона трамваевъ, кружились, плавали и сыпались крупныя облатки радужнаго снѣга.



Бѣжавшіе люди толкали одинъ за другимъ бѣднаго Пичунаса такъ, какъ будто онъ только затѣмъ на эту улицу и вышелъ, чтобъ получать удары то въ лѣвое плечо, то въ правое. Отъ безпрестанныхъ толчковъ на его головѣ еле-еле держалась шляпа. При всемъ желаніи злосчастный приказчикъ не могъ слышать ничего изъ того, что говорилъ ему его старшій коллега. И когда тотъ прокричалъ ему надъ самымъ ухомъ: „Садитесь!“—разсудокъ у Яна какъ бы совсѣмъ помутился.

Его за руку втянули въ какую то шатающуюся будку, довольно темную, не смотря на то, что въ ней были окна. Подъ поломъ страшно трещало, шипѣло, наконецъ... (О, ужасъ!) все зданіе сдвинулось съ мѣста и понеслось. Обоихъ приказчиковъ зашатало, подбросило на сидѣнья.

Медленно приходя въ чувство отъ веселаго смѣха коллеги, Янъ далъ себя увѣрить, что они ѣхали всего на всего въ простой машинѣ, называемой автомобилемъ. Отъ этого сдѣлалось весело и самому Пичунасу. Его сильно розовое, даже почти красное, лицо разшири-

лось, какъ только могло, отъ улыбки. На сердцѣ хорошо, и чуть страшно, онъ будто спалъ и все это ему видѣлось во снѣ, поэтому онъ рѣшилъ молчать, не говорить ни одного слова, пока это необыкновенное приключеніе чѣмъ нибудь ни завершится.

Какъ вдругъ его обдали какіе-то чудесные запахи апельсинныхъ корокъ, духовъ, пахнущихъ ландышами, жасминомъ и розами.

Слѣдомъ за своимъ другомъ онъ въ какомъ то туманѣ сталъ взбираться по мягкимъ ступенямъ вверхъ, какъ опять услышалъ надъ своимъ ухомъ голосъ пріятеля, предлагавшій бѣжать отсюда, потому что здѣсь что-то дорого. Яна опять дернули за рукавъ, но на этотъ разъ не утрачивая сознанія, онъ рѣшилъ остаться на мѣстѣ, потому что ему нравилась теплота, которая его окружала и благовопіе, которое было ему пріятно. Не отдавая себѣ отчета, гдѣ онъ могъ очутиться, Пичунасъ съ пріятностью созерцалъ большія растенія въ зеленыхъ кадкахъ, рядъ огромныхъ залъ... или то были зеркала?..

Сильный электрическій свѣтъ слѣпилъ ему



глаза, поэтому онъ только неопредѣленно и смутно могъ видѣть какихъ-то суесящихся людей съ блестящими пуговицами, услужливо снимавшихъ съ дамъ и мужчинъ верхнее платье. Скоро и къ нему подбѣжалъ челоуѣкъ въ блестящихъ пуговицахъ и не успѣлъ приказчикъ что либо сказать или даже только подумать, какъ тотъ въ одну секунду снялъ съ него пальто, растворилъ какія-то двери и Пичунасъ въ какомъ-то невмѣняемомъ состояніи, въ какомъ то одуреніи очутился среди огромной залы, гдѣ съ потолка, разукрашеннаго золотомъ и картинами, свѣшивалось множество люстръ въ формѣ большихъ лодокъ, внизу стояли покрытые слѣпяще-бѣлыми скатертями столы съ лампами подъ разноцвѣтными колпаками, за столами сидѣли, вѣроятно, императоры, короли и министры съ королевами, принцессами и графинями, (такъ показалось Пичунасу) и пили шампанское, дорогія вина, заѣдали мороженымъ, ананасами и омарами...

— Сюда пожалуйста, тутъ для васъ хорошій столикъ — проговорилъ скороговоркою, пред-

ставшій передъ приказчикомъ, бритый во фракъ господинъ и повель его на самую середину залы.

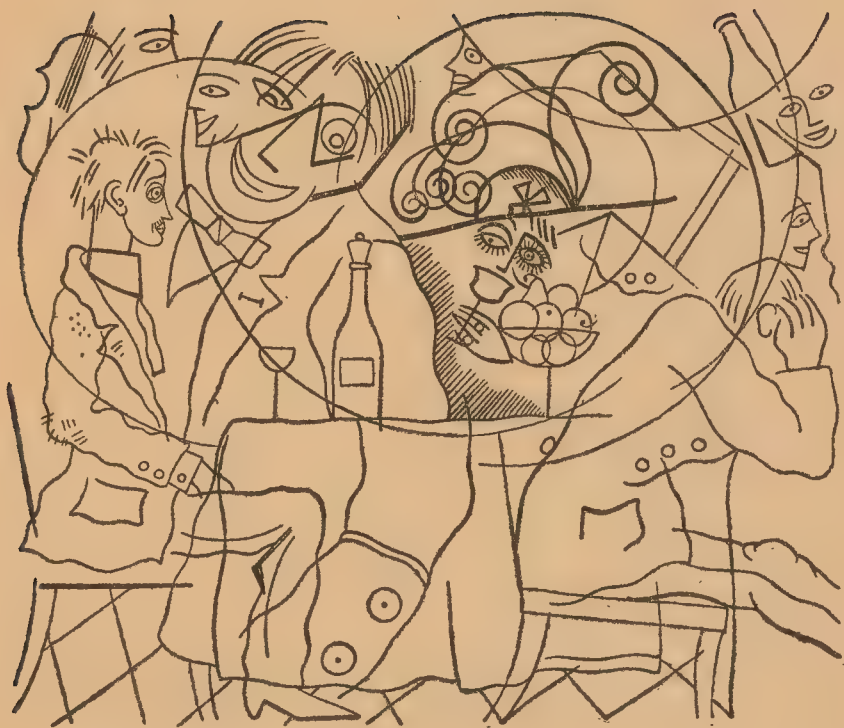
Съ возвышенія музыканты въ золотыхъ костюмахъ трубили такія мелодіи, какія могли играть, казалось, только въ раю.

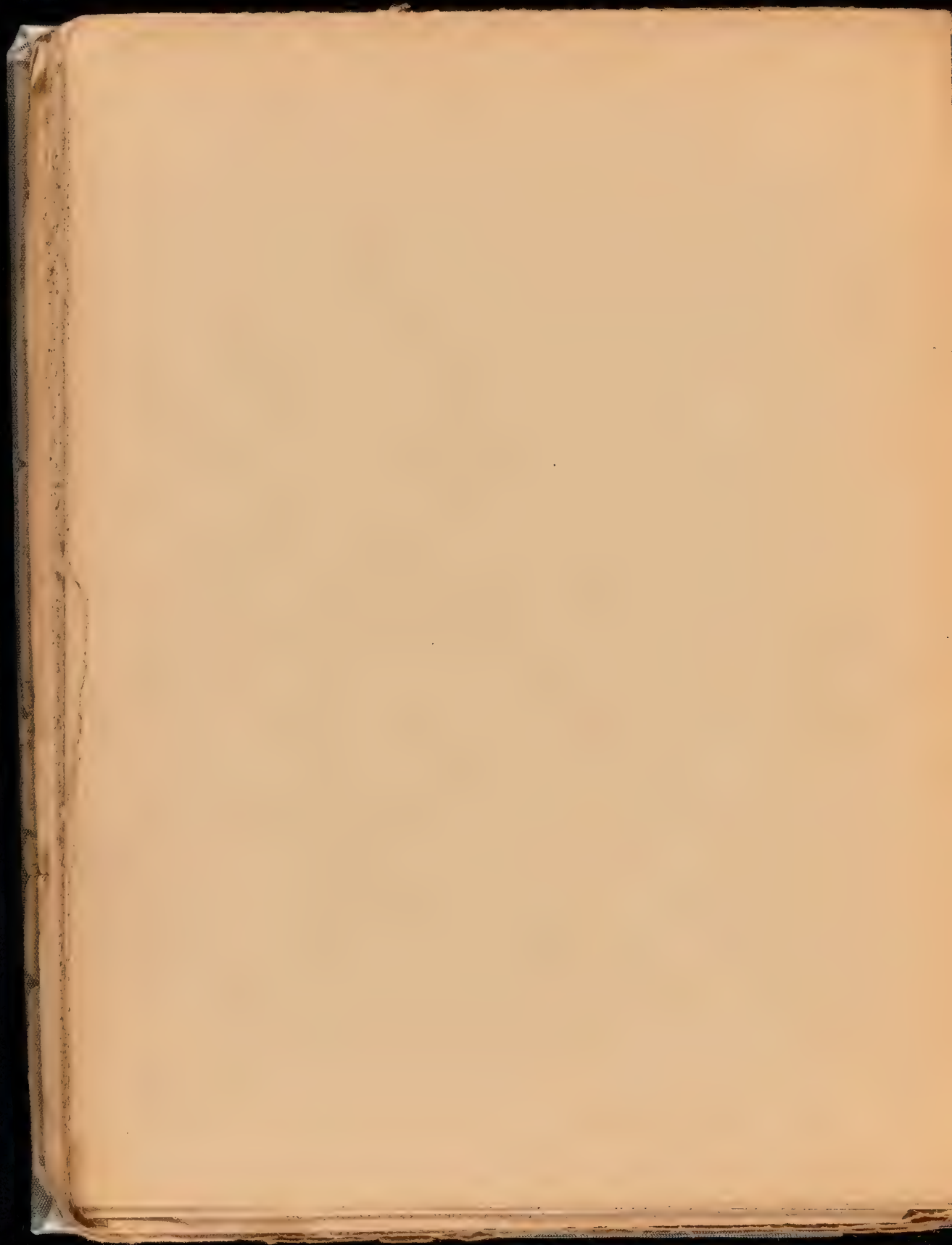
Такъ какъ приказчикъ молчалъ и не зналъ совершенно, что надлежитъ ему дѣлать съ картой, господинъ во фракъ, разрѣшилъ его недоумѣніе, ткнувъ пальцемъ въ неопредѣленное мѣсто исписаннаго, и изобразивъ на лицѣ живѣйшую догадливость, оставилъ Пичунаса въ покоѣ, быстро и ловко миновавъ столы и далеко отъ столовъ отставленные стулья съ королями и императорами.

Пичунасъ совсѣмъ сомлѣлъ; на смѣну его злосчастной робости теперь пришло какое-то другое неописуемое состояніе. Чудилось ему что теперь у него нѣтъ ни рукъ, ни ногъ. Наконецъ онъ освободился отъ этихъ ужасныхъ вещей, вѣчно не дававшихъ ему покоя!

Вдругъ успокоившагося, то есть потерявшаго всѣ чувства, кромѣ зрѣнія, приказчика начало донимать какое-то смутное безпокой-









ство: къ нему будто опять возвратились эти проклятыя руки и ноги... дѣло въ томъ, что онъ увидѣлъ невдалекѣ передъ собою совершенно темные глаза, обведенные вкругъ синими жирными рѣсницами, уставленные прямо на него... Красивыми и въ то-же время страшными были эти глаза; они смотрѣли ровно, прямо, чуточку блестѣли. Но точнѣе опредѣлить ихъ выраженіе не взялся бы и самъ дьяволъ, до того они много выражали.

Ужъ поджалъ бѣдный Пичунасъ свои ноги, ужъ задвигалъ подъ скатертью своими омертвѣлыми пальцами, какъ трубы на возвышеніи разомъ умолкли и въ залѣ наступила полная тишина. Приказчику казалось, что онъ проваливается въ глубочайшую пропасть, какъ... — не помнитъ, какъ и когда опять заиграла музыка... — но передъ нимъ ужъ не было ни залы съ люстрами, королями и императорами, ни стола на который (какъ сквозь сонъ онъ помнилъ) чья то рука поставила зеленую бутылку съ синимъ горлышкомъ, а передъ нимъ теперь уже совсѣмъ близко, рядомъ, вотъ тутъ — сидитъ, подперевъ голову руками, пальцы кото-

рыхъ горять дюжиной чудесныхъ разноцвѣтныхъ камней, дама въ огромной шляпѣ, перья которой, какъ вентиляторъ въ банѣ, обдають Пичунаса душистой прохладой. Глаза у дамы тѣ самыя, которые на него глядѣли съ неизъяснимо жуткимъ выраженіемъ.

— Вы хотѣли, чтобъ я къ вамъ подсѣла, — не правда ли?

И изъ ея рта съ нѣскольکو воспаленными и влажными губами дохнуло на приказчика то-же благовоніе, какимъ повѣяло отъ пурпурныхъ перьевъ на шляпѣ.

— Принесите мнѣ сюда мое портмоне и перчатки, — обратилась она къ бритому во фракѣ.

Не понявъ, къ кому была обращена эта просьба, приказчикъ, привыкшій быть услужливымъ во всякое время дня и ночи, по инерціи дернулся впередъ и чуть не опрокинулъ стола.

— Ахъ, какой вы милый, — проговорила, засмѣявшись, дама и положивъ свою руку со столькими кольцами на шершавый рукавъ сѣраго костюма, dokonчила: — Но, останьтесь!



И она бросила, ужъ принесенныя лакеемъ, перчатки и ридикюль, черный муаровый съ червоннаго золота рамкою и замкомъ, на столъ.

— Не дѣлайте такихъ широкихъ глазъ, мой милый, я могу подумать, что совсѣмъ вамъ не нравлюсь...

— Нѣ... (тѣ потерялось) — почему то басомъ промышаль приказчикъ, очевидно не прійдя въ нормальное состояніе.

— О, какъ вы мило выражаетесь! — и она залилась въ тактъ музыкѣ смѣхомъ.

Она взяла со стола большую и глѣбокую зеленую рюмку и, ударивъ ею о такую же стоявшую передъ Пичунасомъ, поднесла ее къ губамъ.

— Ну! пейте-же, — приказала приказчику. — У васъ вѣроятно на шеѣ есть невѣста...

— Да! — поспѣшилъ отвѣтить Пичунасъ.

— Оттого вы невмѣняемы? Ахъ, забудьте о ней... Вѣдь я ея прекраснѣе...

Въ головѣ Пичунаса пріятно шумѣло, ему казалось, что теперь ужъ на скатерти онъ видитъ маленькое лицо своей сосѣдки, сильно

напудренное, съ такими темными и бархатными глазами, — поэтому онъ, не поднимая головы, раздумчиво отвѣчалъ:

— Да, вы красивѣе моей невѣсты, только вы меня пожалѣйте: не кружите мнѣ головы! Ничего хорошаго не выйдетъ, ежели я васъ люблю, я — бѣдный человѣкъ, вы не захотите меня и знать потомъ...

— Вотъ вы какой? — сказала дама, наклонясь, когда Пичунасъ поднялъ на нее глаза, нѣжнымъ голосомъ. — Вы бѣдный и я васъ могу влюбить въ себя? Какой вы трогательный!...

Но совсѣмъ не соотвѣтствующе нѣжащему голосу глядѣли на Пичунаса теперь ея бархатные глаза, глядѣли сердито, перестали даже казаться бархатными, высохли, зло глядѣли.

Никакъ себѣ бѣдный приказчикъ не могъ объяснить этой быстрой переменѣ въ пристѣвшей такъ мило къ его столу чудесной дамѣ. Своими страшными, ставшими вновь страшными, глазами она оглядѣлась кругомъ.

— Скажите, а вы не безъ мѣста ли еще къ тому-же? — спросила она злымъ и насмѣшливымъ голосомъ.



— Нѣтъ, я служу.

— Ахъ, слава Богу, слава Богу! отъ сердца отлегло... А то-бы я вамъ могла составить протекцію къ одному уродливому идиоту, дѣйствительному статскому совѣтнику, который скупъ, страшно скупъ и не даетъ мнѣ денегъ. Онъ могъ бы васъ устроить на хорошее жалованье, тогда бы вы мнѣ могли платить. Я люблю за деньги; запомните; только за деньги! Но я люблю не такъ, какъ всѣ, не такъ, какъ можетъ тамъ любить васъ ваша дурацкая невѣста... А люблю—понимаете-ли,—люблю по настоящему: съ миллиономъ маленькихъ нѣжностей, знаю тысячу способовъ, ухищреній, какихъ не знаетъ ни одна женщина, кромѣ меня.

Послѣ этого она откинулась на спинку стула, по прежнему вода вокругъ злыми глазами.

— У васъ, по крайней мѣрѣ хватитъ денегъ, чтобъ расплатиться и за меня? Или на это вы у меня же собираетесь занять? Вы не альфонсъ? Что же вы молчите?

— Я — Иванъ и у меня — тридцать рублей.  
Она громко расхохоталась, повторяя:

— Иванъ, Иванъ! Ну вы,—милый мальчикъ и я напрасно васъ обижала... Не сердитесь на меня... Я терпѣть не могу за что бы то ни было платить. Не думайте, что я—падшая женщина, я даже титулованная особа, понимаете,—графиня, у меня мужъ, очень много любовниковъ... Но, откровенно, я—жадна, скупа... Зовите лакея и расплачивайтесь,—докончила она и постучала вилкой о кофейную чашечку.

Когда приказчикъ за своей дамой вышелъ изъ подъѣзда, онъ сразу потерялъ ее изъ глазъ. На улицѣ была страшная мятель, невозможно было ничего разобрать даже на растояніи шага. Онъ слышалъ только скрипѣніе отъѣзжающихъ саней, низкій окрикъ кучера... И въ ту же минуту порывомъ бури сорвало у него съ головы легкую осеннюю шляпу... Онъ погнался за нею.





## ГЛАВА ПЯТАЯ

Любовныя муки, рѣшеніе и ихъ ..сочество!!!

— Понимаешь-ли, понимаешь-литы, дуракъ, — выкрикивалъ ихъ превосходительство, бѣгая изъ одного угла въ другой по пустой своей квартирѣ, безъ мебели, съ однимъ только маленькимъ стуломъ и чернымъ геридономъ, заламывая къ небу руки. — Какое это мученіе: ни въ чемъ не довѣрять подобной милой крошкѣ?.. А!!! а!!! — выстанывалъ ихъ превосходительство.

— Видѣть эти милыя ножки, вдыхать ихъ ароматъ, обсасывать пальчики, слышать бѣненіе сердца подъ платьемъ, приложивъ ухо къ очаровательному бочку, — и думать, и знать, что все это принадлежитъ лгунѣ, только маленькой злой лгунѣ, что все это пропитано ложью, враньемъ, коварнымъ враньемъ. А!!! а!!!

— Женщины всѣ лгутъ, и пора бы вамъ это знать, мой господинъ, — пессимистически замѣчаетъ старѣй слуга съ фальшивыми рыжими бакенбардами, выбравъ печальную позицію у двери и держа руки за спиною.

— Лгутъ всѣ!! Но только не тѣ, которыхъ я люблю! Слышишь, дуракъ!

— Слышу, мой господинъ. Виноватъ.

— Только не тѣ, у которыхъ и кровь другая, и кожа!! Эти не могутъ лгать, платье которыхъ для меня пріятнѣе жизни, а подошвы ихъ туфель — золота, золота.. Понимаешь-ли?

— Понимаю, господинъ... И однако-же лгутъ!

— Лгутъ... Ахъ, лгутъ, лгутъ! — и уродъ заплакалъ. Изъ его глазъ покатались крупныя капли, пробѣжали по старому вытертому, бывшему сѣрымъ, теперь же отъ старости вызеленѣвшему пиджаку и упали на полъ.

— Какихъ сокровищъ въ мірѣ стоитъ моя любовь? Такихъ сокровищъ нѣтъ... Ты смѣешься, негодяй!!! — вдругъ быстрѣе молніи обернувшись лицомъ къ слугѣ, крикнулъ, что было силы, уродъ.



— Да упаси меня Боже! — поблѣднѣвъ отъ испуга, отвѣчалъ слуга.

— Надъ этимъ смѣяться нельзя, — продолжалъ уродъ болѣе мягкимъ голосомъ. — Надъ любовью смѣяться смертельный грѣхъ. Это чувство огромнѣе Исаакіевского Собора, это — горящая смола, это — цѣлая Москва съ золоченными крестами, бульварами, лужами, парками и лавочками... Что-бы мнѣ на это не отвѣтили, а я скажу, что если-бы можно было показать внутренность человѣка, который любить, за это платили бы большія деньги!.. Какъ рокочетъ кровь, пробираясь по жилкамъ, про что она поетъ, какъ скрипитъ каждый малѣйшій суставчикъ!... Любовь огромна, таинственна, всесильна и въ тоже время безпощадна, слаба, какъ дитя; какъ дитя — проста и наивна, и благодаря этому можетъ кой-кому показаться глупой и смѣшной. Красота и любовь рѣже совмѣщаются, чѣмъ любовь и безобразіе... — А-а-а-а-а, — заплакалъ вдругъ громко уродъ, опускаясь на стульчикъ.

Слезы долго катились изъ его глазъ круп-

ными, казалось, сухими каплями; затѣмъ потекли ручьемъ.

— Развѣ въ этомъ мірѣ хотъ одинъ влюбленный избѣгнулъ муки сомнѣній, муки ревности? Былъ ли когда такой любовникъ на свѣтѣ, которому его любовница не солгала-бы менѣе трехъ разъ, котораго она не мучила бы, не терзала бы ни одного разу. А всѣ любовники, влюбленные были уродами? По твоему, дуракъ, всѣ? да? Я тебя спрашиваю? Дай мнѣ платокъ, чтобъ я могъ вытереть слезы!.. Дай мнѣ свой платокъ, потому что у меня нѣтъ платка. Здѣсь стоялъ шкафъ, тутъ у окна—вольтеровское кресло,—нѣтъ ничего теперь... Все продано... Ей нужны мои деньги только потому, что я бѣденъ... Будь я богатъ, ей понадобились-бы кустарные подарки собственноручной моей работы, съ условіемъ чтобъ они стоили мнѣ мозолей. Былъ бы я молодъ—ей понадобились бы жертвы, доказательства любви къ ней... Старъ-же-свита изъ молодыхъ олуховъ... Дай мнѣ платокъ...

И уродъ заголосилъ опять.

— Сколькихъ это я опять—бездѣльниковъ



представилъ къ должностямъ за послѣдніе мѣсяцы, а? — спросилъ черезъ нѣкоторое время, послѣ самаго сильнаго припадка горечи и огорченія, сморкаясь и утирая глаза, его превосходительство.

— Тринадцатъ, господинъ.

— Ой, ой, Ты считаешь и вчерашняго чухонца?

— Да, только онъ не чухонецъ, господинъ, а полякъ.

— Фамилія чухонская... Но Боже мой, какъ ихъ много, какъ ихъ много! Нѣтъ!.. Довольно, я хочу всему этому положить предѣлъ!! Да, предѣлъ, предѣлъ!!

И съ послѣднимъ повтореніемъ слова „предѣлъ“, уродъ такъ сильно притопнулъ ногою, что съ потолка мелкой пылью попадала штукатурка.

Послѣ этого ихъ превосходительство объяло какое-то таинственное смущеніе; они разъ поглядѣли изподлобья на своего слугу, другой... какъ бы намѣреваясь заигрывать съ нимъ.

— Миленькій дурачекъ,—произнесли они

наконецъ, преодолѣвъ смущеніе, — Остался ли еще фракъ?..

— Какъ же, господинъ, остался. Я его уберегъ! — заговорилъ обрадованно слуга, — сію минуту его вамъ представлю! — и подпрыгивающей походкой онъ торопливо вышелъ въ дверь.

— Какъ пріятно открывать добрыя отношенія къ себѣ въ тѣхъ людяхъ, которыхъ мы привыкли считать своими врагами, — умиленно размышлялъ вслухъ, начавъ опять бѣгать изъ угла въ уголъ, его превосходительство, — и какъ жестоко ошибаться въ тѣхъ, кого мы любимъ!.. А-а-а! Но я положу предѣлъ! Довольно! Сегодняшній вечеръ долженъ рѣшить мою участь... Но какъ опустѣла квартира!

Онъ въ печали обвелъ глазами комнату.

— Въ спальнѣ моя постель и на кухнѣ его собачій тюфякъ, стулъ и геридонъ! — Дѣтка, рѣшайся! — произнесъ онъ шепотомъ, Милая дѣтка, подумай... Нѣтъ, раньше я сдѣлаю предисловіе: Лучекъ моего сердца, я буду съ тобою откровененъ... Теперь подумай и рѣши!.. Я знаю, что сердечко капризное твое



любить не можетъ. Это такъ, и ничего съ этимъ не подѣлаешь. Любящаго тебя сильнѣе меня ты не встрѣтишь. А если сама остановишь на комъ нибудь секунднѣйшій взглядъ, то затѣмъ въ теченіе только получаса измѣнишь и на-лукавишь ужъ двѣнадцать разъ. Такъ что взвѣсь ты, моя милая крошка, эти приведенные мною аргументы и позволь мнѣ тебя увести отсюда, отъ твоего мужа и отъ твоихъ шело-паевъ подальше. Куда хочешь!.. Какое хочешь выбирай мѣсто,—и бѣжимъ... Тутъ глазки ея задернутся синими вѣками, а губки тронутся легонькой усмѣшкой, усмѣшкой умнаго дитяти, осуждающаго безразсудство стараго дуралея. О, дѣтка, не криви своего ротика, хотя это искривленіе придаетъ ему еще большую прелесть... Предъ тобою, зорька моихъ глазъ, совсѣмъ не безразсудный дуралей, а здравый реалистъ, рассчитавшій и предусмотрѣвшій все заранѣе. — Мы уѣдемъ далеко, далеко отсюда. Тамъ я окружу тебя лаской, любовью...

Въ это время вошелъ слуга и засталъ своего господина прижавшимся губами къ стеклу.

— А, фракъ, фракъ,!—прокричалъ захлебываясь и ударяя въ ладоши, господинъ,—И при немъ звѣзда! О, какое очарованіе! Только потускнѣла она... но мы сейчасъ заставимъ ее сіять. Мой милый дурачекъ, принеси складную лѣстницу, что виситъ въ коридорѣ на крюкѣ противъ дверей уборной.

Лакей исполнилъ приказаніе. Тѣмъ временемъ господинъ, отвинтивъ орденъ, поднялся теперь по лѣстницѣ къ потолку.

— Женщины любятъ мишуру! Моя дѣтка ту старую серебряную звѣзду часто, задумавшись, ковыряла пальчикомъ!

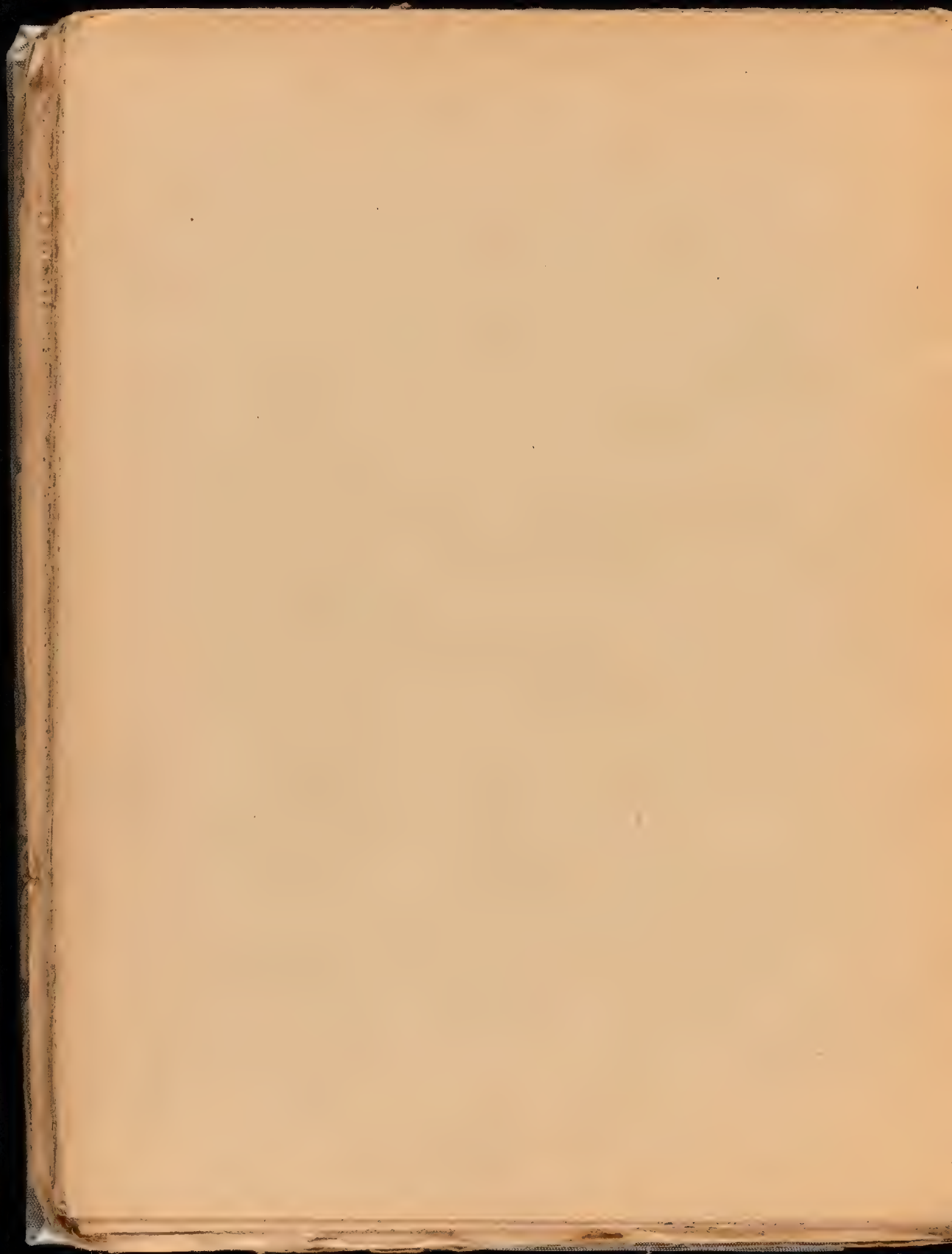
Набравъ на уголь платка съ потолка мѣлу, уродъ принялся чистить орденъ.

— Разбейте сердце,—онѣ не будутъ жалѣть, а расколотите фарфоровую чашку,—онѣ заплачутъ. А можетъ быть, онѣ и правы! Можетъ быть, въ фарфоровой чашкѣ больше жизни...—Сіяетъ, сіяетъ звѣзда! Ну, держи наготовѣ фракъ, я отсюда въ него впрыгну,—пошутилъ уродъ и медленно слѣзъ съ лѣстницы.

— Дома графиня?—спрашивалъ, полчаса спустя уродъ, войдя въ богатый вестибюль,









стѣны котораго были выкрашены въ краску запекшейся крови, поправляя на головѣ взъерошенный цилиндръ и засовывая руки въ карманы чернаго пообносившагося пальто.

— Точно такъ, ваше превосходительство, — отвѣтилъ шепелявый швейцаръ, во всемъ остальномъ величественно важный.

— Ихъ сіятельство очень извиняются, но принять васъ не могутъ, потому что у нихъ Ихъ Высочество...—проговорила, пріоткрывъ только на половину высокую дубовую дверь, служанка.

— Ихъ Сочество, ихъ сочество!..—растерянно повторялъ ихъ только дительство, почтительно разводя руками и наклоняя на бокъ голову, и началъ сходить внизъ по пурпурной дорожкѣ обтягивавшей бѣлую мраморную лѣстницу.



## ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Экзальтація автора и намеки на міровоззрѣніе господина Зацкера. Отношеніе къ любви у занятыхъ людей и мудрое изреченіе, послѣ котораго, если не все, то многое становится яснымъ.

Приближалась весна и съ перваго дождя въ столицѣ запахло нѣжно, еле уловимо, нафталиномъ... Мокрая теплота, которая меня волновала, волнуетъ и будетъ волновать всегда въ этомъ городѣ, (а покину я его, при первомъ-же насморкѣ опять вспомню, и волненіе и тоска по этой первой мокрой теплотѣ охватитъ меня,) мокрая теплота теперь, во время дѣйствія моего разсказа, распушилась въ туманномъ воздухѣ.

Загромыхали частыя телѣги, увозя подальше бурый снѣгъ; захлопали по деревьяшкамъ копыта рысаковъ, задребезжали пролетки.

Господинъ Зацкеръ, выйдя изъ дома, направился не спѣшной походкой къ улицѣ, въ которой находилась нотная лавка. Въ этотъ день онъ наконецъ твердо рѣшилъ осуществить во что бы то ни стало давнее намѣреніе и повидаться съ прежнимъ своимъ хозяиномъ и товарищами приказчиками, а также заявить о томъ, что онъ вынужденъ оставить службу. Въ рукахъ тапера была элегантная палка съ массивнымъ серебрянымъ набалдашникомъ, изображавшимъ голую женщину, закаменѣвшую въ сладострастной позѣ; на головѣ его была артистическая шляпа съ широкими полями, а въ карманѣ открытые часы, на задней крышкѣ которыхъ была изображена безсмертная героиня Валькирія съ носомъ замалеваннымъ, по оплошности художника, синей краской.

Съ гордо поднятой головой господинъ Зацкеръ все же могъ наслаждаться и погодой, и пестрой чисто по весеннему публикой, и въ



особенности женскими платьями, очаровательнѣе которыхъ ни одинъ изъ вѣковъ не имѣлъ. Польскія пальто, почти такія, въ какихъ ходилъ Костюшко, плащи; черныя, лиловыя и желтыя; шляпы, чѣмъ-то напоминающія какой-то мужской головной уборъ, бѣлые и цвѣтные жакеты, полосатыя юбки,—полосы темныхъ литовскихъ красокъ...

А обуви!.. вы видите милліоны ногъ, ножекъ и лапъ, въ длинныхъ узкихъ ботинкахъ, въ расползающихся съ неуклюжими носками англійскихъ башмакахъ, на высокихъ каблучкахъ, ножки въ гетрахъ: темно-синихъ, сѣрыхъ, ярко желтыхъ, бѣлыхъ,—и у васъ не сумбуръ въ головѣ, не неразбериха,—вы запоминаете каждую въ отдѣльности ножку.

О, ножки! Ножка символъ зрѣлой мужественной любви! Кто видитъ смыслъ въ тебѣ, тотъ знаетъ и толкъ въ жизни.

Господинъ Зацкеръ, поправивъ пенсне, поглядѣлъ на Валькирію съ синимъ носомъ; свободнаго времени оказалось много, поэтому онъ еще болѣе замедлилъ шагъ. Глаза г. Зацкера остановились на шести-этажномъ домѣ

модернистического стиля, въ которомъ работалъ въ этотъ часъ псевдо-супругъ его потной и жирной любовницы; пофилософствовалъ-ли господинъ Зацкеръ мысленно о чудно созданной жизни, или благородно упрекнулъ себя въ прегрѣшеніяхъ противъ одной изъ заповѣдей, — только покачавъ неопредѣленно головой и вторично вынувъ часы съ Валькиріей, на этотъ разъ прибавилъ шагу.

Сказать откровенно, г. Зацкеръ чувствовалъ теперь себя превосходно. У него была уютная комната не только съ удобствомъ, но и со вниманіемъ, какое дается не всякому смертному. Онъ могъ цѣлыми днями съ чувствомъ огромнаго наслажденія разбирать великихъ чародѣевъ, развивать и совершенствовать собственную технику, а вечеромъ предаваться очарованію многочисленныхъ мелочей семейной жизни, такъ какъ тотъ (да проститъ господину Зацкеру небо!), чье счастье онъ похищалъ, не умѣлъ, или не желалъ цѣнить ихъ.

Бывалъ г. Зацкеръ со своей Еленой въ кинематографахъ, мініатюрахъ, прогуливался въ садахъ, — словомъ, жизнь его была полна

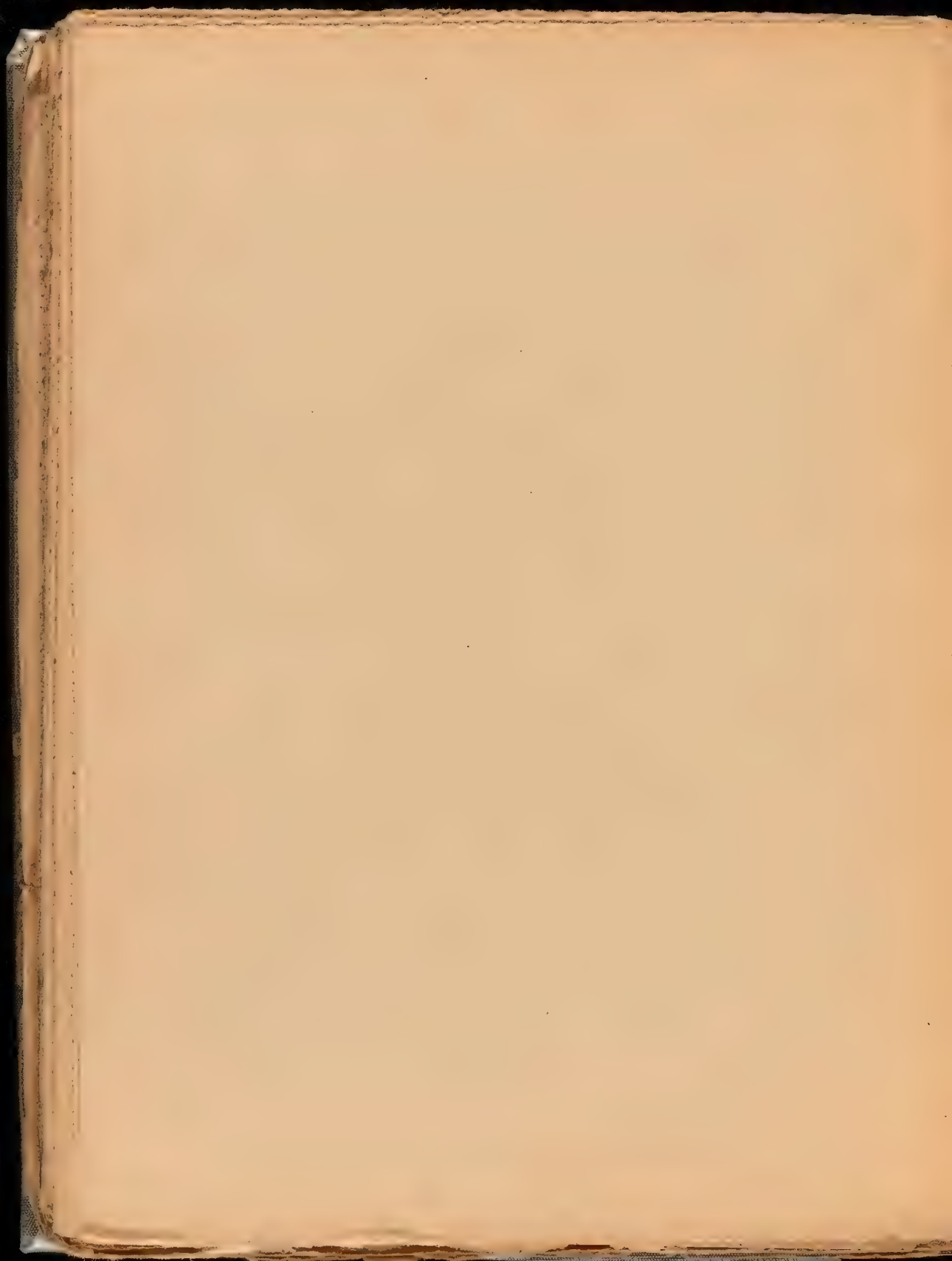
непередаваемыхъ прелестей, какими только одна любовь можетъ наполнить воздухъ, улицы и дни.

Господинъ Шифлеръ, мужъ Елены, былъ первое время только агентомъ по распространенію заграничныхъ мануфактурныхъ товаровъ; изучивъ же дѣло въ совершенствѣ, затѣмъ и самъ открылъ небольшую торговлю. Но такъ какъ это ничуть ему не мѣшало нести прежней службы при большой фирмѣ, то по порученію послѣдней случалось ему отлучаться изъ дому даже на цѣлые мѣсяцы. Тѣмъ временемъ госпожа Елена Зингерблатъ не теряла времени на однѣ только желанія своего сердца, хотя послѣднія и ставила высоко, но имѣла лавочку фотографическихъ принадлежностей, въ которой и удѣляла торговлѣ значительную часть дня. Что думали другъ о другѣ супруги, оставалось тайной, но наружныя ихъ отношенія были холодными.

Госпожа Зингерблатъ вѣрила, что ей измѣняютъ, на томъ и успокаивалась, господинъ Шифлеръ былъ непоколебимъ въ вѣрѣ въ безупречное поведеніе жены. Г. Зацкеръ







игралъ имъ обоимъ господина Вагнера и господина Верди, на что безизмѣнно супругъ выражалъ недоумѣніе, почему къ господину Зацкеру такъ долго не приходитъ слава.

— Слава приходитъ поздно! — отвѣчалъ музыкантъ.

— Какъ и деньги, — замѣчалъ мужъ, — иначе зачѣмъ бы мы жили? Молодость мы проводимъ въ гешефтахъ, а старость въ качалкѣ.

Комнаты были увѣшаны картинами благороднаго жанра: лѣсными пейзажами, морскими видами, большая картина въ золоченой рамѣ изображала зимнюю дорогу со свѣтящимися въ перспективѣ окнами избъ. Гостинная съ бамбуковой мебелью. Въ столовой — рыбы натюръ-морты и съ дюжину съ синими разводами тарелокъ.

Господинъ Зацкеръ перешелъ улицу и уже хотѣлъ войти въ нотную лавку, какъ галантно уступилъ дорогу, хотя и не интеллигентной дамѣ, но все же женщинѣ, одѣтой въ ватный бурнусъ и не по модѣ сшитую красную юбку; въ обѣихъ рукахъ она держала по узелку: въ



правой—маленькій сѣрый, въ лѣвой—нѣсколько большій и пестрый.

Г. Зацкеръ рѣшилъ, что эта женщина не могла быть покупательницей ни Вагнера, ни Верди, ни даже уличныхъ романсовъ, судя по ея крайне „мужицкому“—(такъ и подумаль г. Зацкеръ) виду.

Въ нотной лавкѣ было много народу, за роялью сидѣлъ новый таперъ и на его скверное исполненіе,—(правда, сквернаго и вальса)—г. Зацкеръ поморщился. Съ бѣлыми подстриженными ежикомъ волосами, съ растрепанными усиками и короткими рукавами, изъ которыхъ почти до локтей высывались красныя съ уродливыми кистями руки, онъ производилъ жалкое впечатлѣніе человѣка, который только изъ крайней нужды избралъ искусство ремесломъ.

Заинтересовавшая г. Зацкера женщина, какъ вошла, такъ и осталась стоять у дверей, не пытаясь ни съ кѣмъ заговорить, равно какъ и освободить рукъ отъ ноши.

— Мое почтеніе, г. Зацкеръ,—поздоровался съ прежнимъ таперомъ одинъ изъ приказчиковъ.

— Здравствуйте!—отвѣтилъ тотъ. И чтобы отблагодарить за вѣжливость съ живымъ участіемъ спросилъ:—Скажите, выиграли вы по тому лотерейному билету, который купили у часовщика въ переулкѣ... вотъ я какъ разъ и забылъ названіе того переулка.,.

— Въ Геслеровскомъ! Нѣтъ, г. Зацкеръ. Развѣ это возможная вещь? По лотерейнымъ билетамъ выигрываютъ только богатые люди... Не прикажите ли еще чего? — обратился приказчикъ къ покупателю, для котораго доставалъ какія то ноты съ угловой у двери полки, проходя къ которой и повстрѣчалъ господина Зацкера.

Прежній таперъ обвелъ глазами всѣхъ присутствующихъ; не отыскавъ взоромъ среди нихъ Яна Пичунаса, онъ обратился къ кассиршѣ, предварительно поздоровавшись съ нею и справившись о ея любовныхъ дѣлахъ, которыми эта пожилая женщина съ совершенно юнымъ жаромъ отдавала всѣ свои свободные часы.

— Сегодня будетъ ровно мѣсяцъ, какъ Пичунасъ оставилъ службу. Бѣдняжка, оче-

видно, былъ влюбленъ,—такимъ онъ выгля-  
дѣлъ истомленнымъ... (Она склонна была  
всѣхъ видѣть влюбленными.) Онъ, по протек-  
ціи какой то графини, которая, вѣроятно, въ  
него влюбилась, опредѣлился на семидесяти-  
пятирублевое жалованье. Что только за такое  
жалованье онъ можетъ дѣлать?!

Г. Зацкеръ поговорилъ и съ хозяиномъ,  
который былъ съ нимъ крайне любезенъ, уз-  
навъ, что г. Зацкеру совсѣмъ не нужно тѣхъ  
маленькихъ денегъ, которыя причитались за  
одиннадцать дней послѣ двадцатаго числа.  
Хозяинъ удѣлилъ трогательное вниманіе кра-  
сивой палкѣ, что была въ рукахъ г. Зацкера.  
Г. Зацкеръ рѣшилъ похвастаться и часами, но  
въ это время къ нимъ подошелъ тотъ при-  
казчикъ, который первый поздоровался съ гос-  
подиномъ Зацкеромъ, сказавъ:

— Какая то баба справляется объ Янѣ  
Пичунасъ. Я ей сказалъ, что ужъ будетъ съ  
мѣсяцъ какъ онъ не служитъ здѣсь.

— Совершенно справедливо,—подтвердилъ  
хозяинъ.

— Ну, вотъ возьмите ее, она не вѣритъ этому!



— Не невѣста-ли она Пичунасу?—высказалъ догадку г. Зацкеръ.

— Съ нею стоитъ поговорить поласковѣе.

— Хе, хе,—ухмыльнулся хозяинъ.

— Какъ разъ, сударыня, я самъ только что справлялся о господинѣ Пичунасъ,—сказалъ г. Зацкеръ, подходя красивой походкой, подшаркивая подошвами, къ не вѣрующей бабѣ, — и получилъ отвѣтъ, что господинъ Пичунасъ ровно мѣсяцъ тому назадъ оставилъ свою должность, подыскавъ себѣ, очевидно, болѣе выгодную.

— Гдѣ же я теперь его могу найти?—озабоченно спросила дѣвушка, не удѣляя никакого вниманія галантности г. Зацкера.

— Осмѣлюсь предложить вамъ мои услуги...

Вскорѣ г. Зацкеръ и женщина въ бурнусѣ и красной юбкѣ покинули нотную лавку. Женщину дожидался извозчикъ; въ пролеткѣ находился холщевой мѣшокъ и клеенчатый чемоданъ. Лицо спутницы г. Зацкера было краснымъ незатѣйливымъ, съ черными ничего не выражающими дырками, вмѣсто зрачковъ.

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Въ которой авторъ показываетъ, что происходило до событій, описанныхъ въ главѣ шестой. О палочныхъ ударахъ и обстоятельствахъ, при которыхъ первые дѣлаются нечувствительными тому, кто ихъ получаетъ.

Начнемъ съ той минуты, когда порывомъ бури снесло шляпу съ головы приказчика изъ нотной лавки.

Съ трудомъ отыскавъ свою шляпу среди лошадиныхъ копытъ, моторныхъ шинъ, подъ окрики „Берегись!“—онъ ринулся въ снѣжное пространство, не различая людей, домовъ, улицъ и даже свѣта фонарей... Его растегнутое пальто рвала буря, мятель надувала снѣгъ съ пескомъ за бумажный воротникъ, двумя номерами больше, чѣмъ нужно было для его узкой шеи, и въ разрѣзъ розовой сорочки, которой не могъ прикрыть красный галстукъ, давно съѣхавшій далеко подъ ухо.

О, влюбленные простуживаться не могут! Буря въ состояніи только раздувать еще сильнѣе, съ бѣшенствомъ пылающій костеръ, и превращать въ слезы счастья растаявшій на разгоряченномъ лицѣ и тѣлѣ, снѣгъ.

Красное лицо съ широко раскрытыми блестящими, но ничего, казалось, не выражающими, кромѣ здороваго зрѣнія, глазами, съ узкими и только слегка розовыми губами, съ куринымъ колючимъ пухомъ подъ длиннымъ наивнымъ носомъ,—безчувственно отдавало себя объятіямъ холода и жесткимъ обледе-нѣлымъ песчинкамъ.

А городъ шумѣлъ, дрожалъ, его жизни не былъ-бы въ состояніи заглушить ни циклонъ, ни японскій Тайфунъ! Безпрерывно двигались маленькіе черные экипажи, автомобили, крошечныя фигурки людей. Фонари и освѣщенные окна разбрасывали слабый свѣтъ... А подъ облаками огромныя, тяжелыя, бѣлыя сукна со страшнымъ шумомъ развивались и со свистомъ и шипѣніемъ складывались обратно въ могучія складки. Все это отъ людскихъ взоровъ скрывала простая обыкновен-



ная мятель, снѣгъ, такой мелкій, что всѣмъ казался туманомъ...

Но я то знаю, потому что мнѣ удалось подглядѣть, на Комъ были тѣ бѣлыя тяжелыя сукна... Я догадался и что Его такъ разгнѣвало.

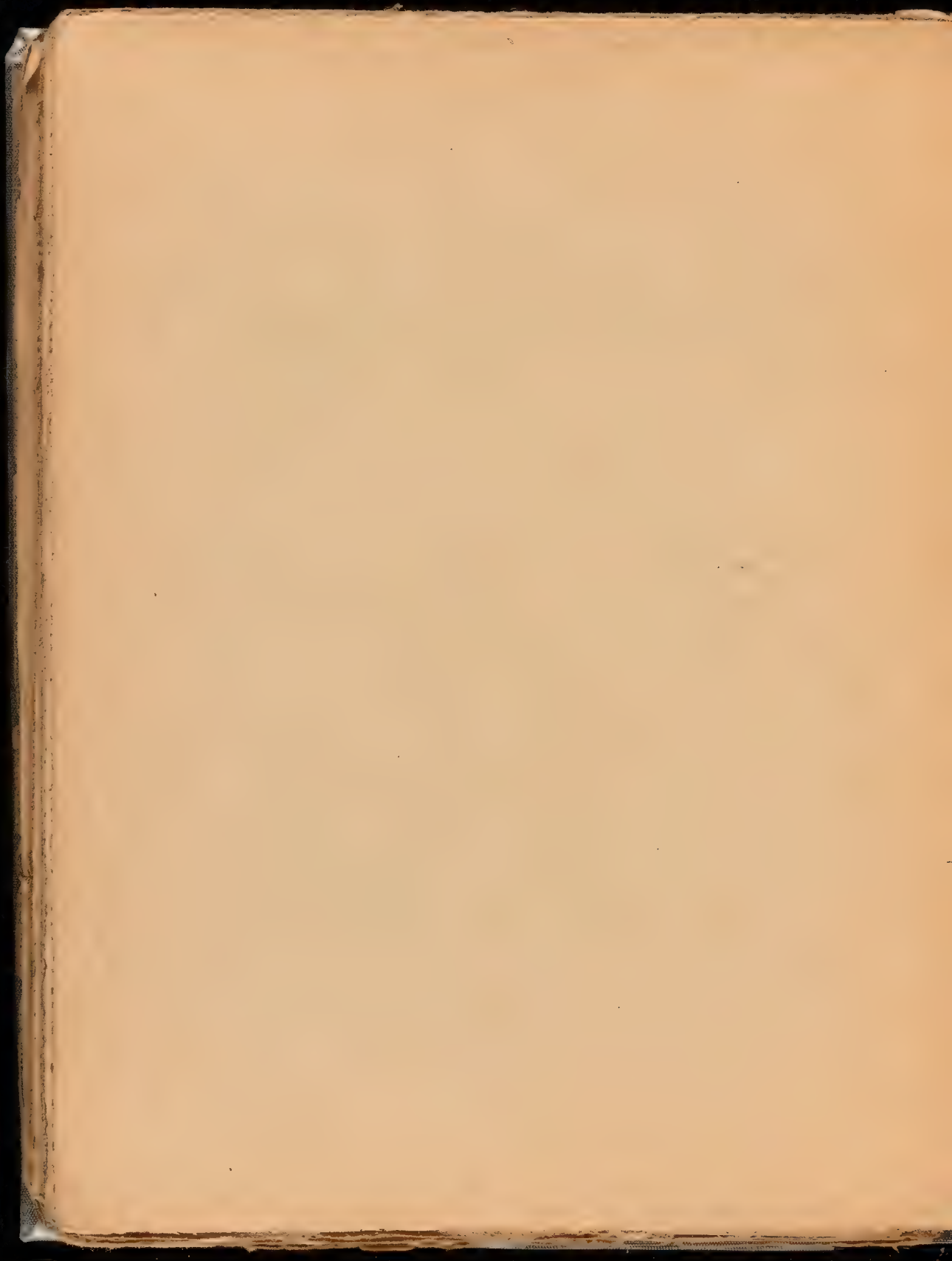
Пичунась поднялся въ свою чердачную квартиру съ двумя кроватями, Іисусомъ на никелевомъ крестѣ и хорошимъ видомъ изъ окна, изъ котораго въ этотъ часъ ничего не было видно.

Пріятель приказчика уѣхалъ на праздники къ роднымъ. Не зажигая свѣта, Пичунась сидѣлъ на кровати. Вскорѣ онъ, незамѣтно для себя, заплакалъ, а затѣмъ, такъ же для себя незамѣтно, и уснулъ...

---

Войдя, въ высокую, дубовую широко рас-творившуюся дверь, въ ту самую, въ которую нѣсколько дней тому назадъ стучался бѣдный уродливый дѣйствительный статскій совѣтникъ и въ которую его не впустили по вышеупомянутымъ тогда же причинамъ, вѣской убѣдительности которыхъ онъ и не попытался







оспаривать,—та чудесная дама, которая, отужинавъ съ милымъ Пичунасомъ, такъ невѣжливо, даже не попрощавшись, покинула его, —сбросивъ на руки высокой горничной шубу и ей-же передавъ шляпу съ огромными лиловыми перьями, не снимая длинныхъ перчатокъ и оставивъ при себѣ черный муаровый ридикюль съ рамкою и замкомъ червоннаго золота,—прошла въ полутемную глубокую гостиную, въ которой за тремя столиками въ разныхъ углахъ мужчины играли въ карты.

Выраженіе лица вошедшей (не отъ перемены ли свѣта?) измѣнилось: вмѣсто раздраженнаго и злаго, оно сдѣлалось покорнымъ и ласковымъ. Остановившись за спиною мечущаго банкъ смуглаго мужчины лѣтъ тридцати съ черными большими усами и раздраженно блестящими черными, какъ черные камни, глазами,—она съ нѣжностью положила ему на плечи свои узкія въ перчаткахъ руки.

— Къ чорту! Не мѣшай мнѣ,—крикнулъ онъ и нагнулся къ столу.

— Жиръ! Мой Банкъ... Нате, мечите теперь вы...

— Чортъ знаетъ, какъ ты обращаешься со своей женой...

— „Каролина, Каролина“...

Женщина прошла въ другую комнату, откуда слышались веселые голоса и рояль.

— Глупая ставка.

— Я готовъ проигрывать...

— Присаживайтесь къ намъ...

— Проигрывать... Но хочу смертельно пить.. Ахъ, пить, пить!..

— Вы выиграли?

— Ахъ, прелестный корнетъ,—сказалъ высокій сѣдой господинъ, нагибаясь къ безусому, розовому военному,—въ этомъ домѣ принято деньгами только проигрывать.

— За то любовью...

„Жили мы, китайцы, мирно до сихъ поръ.

„Торговали чаемъ...“

— О да, вы болѣе, чѣмъ проницательны. Пойдемте пить то нѣмецкое вино, которое освѣжаетъ...

— Ай, ай, что это за люди? Не воры ли?

— Меня чуть съ ногъ не свалили!

Вдали хлопнула дверь и чьи то голоса были слышны на черной лѣстницѣ съ хорошимъ резонансомъ.

— Одна была служанкой съ мѣшкомъ въ одной рукѣ и съ тростью о золотомъ набалдашникѣ въ другой.

— Вы много проиграли?

— Да.

— Идемте же пить глинтвейнъ.

— ... Всегда волнуетъ улица... Останавливаешь взоръ на одной женщинѣ, на другой... пустой, безпечный... Почти каждая собою олицетворяетъ чье то счастье. Случись что либо съ нею, и дальше цѣлая цѣпь страданій, тамъ горе, тому ударъ...

— О какъ вы цѣломудренно глядите на женщинъ!..

— На мужчинъ?

— Солитеръ.

— То-ли еще будетъ.

— Только секреты!.. Запомните?..

— О-о-о!!!

... обрывокъ жизни... Недосказанное имѣетъ въ себѣ много прелести...



— Зося!—позвалъ провинившимся голосомъ жену смуглый съ большими черными усами сухой господинъ, войдя въ небольшую спальную, освѣщенную розеткой на полированномъ маленькомъ столикѣ и красною электрическою лампочкою безъ колпака въ самомъ углу, оклеенномъ свѣтлыми обоями.

— Ты не сердишься на меня?—мужчина въ жакетѣ взялъ руку жены.

— Я не могу на васъ сердиться, вы это знаете!—проговорила она тихимъ, звучащимъ очень мягко голосомъ и прижалась плечомъ и слегка головою къ его груди.

Она успѣла переодѣться въ черное прозрачное платье, закрывавшее до подбородка тонкую шею, съ рукавами, прятавшими руки до основанія длинныхъ тонкихъ пальцевъ и юбкой со шлейфомъ. Съ шеи свисалъ на тонкой червоннаго золота цѣпи въ черепаховой оправѣ лорнетъ.

— Почему вы меня зовете Зосей?

— Наединѣ я тебя часто зову этимъ именемъ.

— Вотъ, вотъ...почему?

— Не знаю, потому что люблю его.

— Не надо, услышать могутъ.

— Твоя воля.

Жена подошла къ столику съ зеркаломъ, съ флаконами, пудренницами, разбросаннымъ приборомъ для маникюра, щетками въ серебряной и костяной оправѣхъ, выдвинула ящикъ съ письмами, счетами.

— Даль денегъ?—спросилъ мужъ, зажигая сигару.

Въ это время постучали въ дверь.

— Одну минуту... Кто тамъ?—спросилъ онъ.

— Я,—раздался тонкій голосъ, принадлежавшій женщинѣ, или мальчику.

Она поспѣшно закрыла на ключъ ящикъ стола и, выйдя на середину спальни, отвѣтила:

— Войдите!

— Сейчасъ приходилъ хромой господинъ. Этотъ глухой, который всегда нагибается къ лицу, когда говоритъ, и изъ его рта дурно пахнетъ.

— Ну, знаю!—съ досадою прервалъ мужъ мальчика съ птичьимъ дерзкимъ лицомъ, рос-

томъ меньше обыкновеннаго стула. Онъ былъ одѣтъ въ тужурку съ большими серебряными пуговицами, въ рукахъ держалъ фуражку, какъ держать старые швейцары, обшитую, какъ и у нихъ, серебрянымъ галуномъ, обутъ въ щегольскіе башмаки, брюки были съ рѣзко выутюженной складкой.

— Въ чемъ же дѣло? — поморщившись спросила дама.

— Такъ этотъ господинъ приходилъ съ сыщикомъ...

— Ахъ, какъ это гадко! Какъ несносно! — быстро проговорила она болѣзненно раздраженнымъ голосомъ и покинула спальную.

— Какая чепуха! — недовольнымъ голосомъ произнесъ, зажигая большой свѣтъ, господинъ.

— Да, вотъ и чепуха! — съ нахальной интонаціей передразнилъ господина маленькій швейцаръ, — сыщикъ потребовалъ домовую книгу.

— Ну?... И ты?...

— Ну, и я... — Мальчикъ, какъ взрослые люди его общества, осѣлъ на лѣвую ногу, выставивъ правую впередъ и приподнявъ одно



плечо, поглядѣлъ (чуть не сплюнулъ) въ сторону.

— Ты страшно дерзкій,—замѣтилъ господинъ, прищутивъ глаза отъ сигарнаго дыма и опустилъ руку въ правый карманъ, отчего зазвенѣли деньги.

Зеленые глазки птицы, у которой свѣтлые волосы стояли дыбомъ, засвѣтились.

— Я не показалъ книги!

— Врешь!

— Ну, чего мнѣ врать? Ей Богу, честное слово. Я сказалъ, что книга у дворника.

Смуглый господинъ схватилъ швейцара за шиворотъ.

— Жуликъ!—сказалъ онъ свистящимъ голосомъ.

— Пусти!... Самъ ты жуликъ!

Птица вырвалась изъ рукъ и очутилась у самой кровати, опошлѣвшія черточки его лица рѣзче выступили, щеки покрылись румянцемъ, похожимъ на ударныя пятна.

— Не смѣть, негодяй!—черный господинъ взмахнулъ рукой.

И въ это время съ рѣзкимъ звономъ изъ его руки, или же кармана посыпались на полъ золотыя свѣтящіяся монеты.

— Мерзавецъ, какъ кричишь! упрекнулъ онъ швейцара болѣе мягкимъ шипѣніемъ.— Какъ смѣлъ возвысить ты голосъ?!

Тѣмъ временемъ тотъ, къ кому относились эти слова, ловко собиралъ монеты, подлазилъ быстро, какъ обезьяна, подъ кровать, засовывалъ по-очередно то одну, то другую руку подъ шкафъ, и пряталъ все, что находилъ, въ свой карманъ.

— О чемъ они тебя спрашивали? Что говорили?

Швейцаръ поднялся и выколачивая грязными ручками пыль съ брюкъ и тужурки, началъ:

— Спросили сразу: живутъ у васъ такіе то и такіе? Я говорю: „а что вамъ надо?“—„Позови сюда своего отца.“ „А его нѣтъ!“—„Тогда твою мать.“—„И ея нѣтъ.“—„Давай сюда домовую книгу.“—„А книга у дворника.“

— Они ходили въ дворницкую?

— Сколько у васъ было денегъ?

— Всѣ, что въ твоёмъ карманѣ. Ходили въ дворницкую? Я спрашиваю.

Маленькій швейцаръ высыпалъ деньги въ протянутую руку чернаго господина.

— Я вѣдь тебя буду обыскивать, заткну глотку и... А, все?... все!—и онъ сдѣлалъ шагъ къ отступающему къ двери мальчишкѣ.—Дверь заперта!—засмѣявшись добавилъ онъ.

Выжига со страхомъ потрогалъ дверную ручку и его глаза въ ту-же секунду наполнились слезами.

— Ну, ходили они въ дворницкую?

— Нѣтъ,—съ плачемъ и тихо отвѣтилъ швейцаръ.— Не ходили, ей Богу; постояли, пошептались и для страха только взяли извозчика.

— Почему ты знаешь, что для страха?

— Отворите дверь, Владиміръ,—раздался по другую сторону голосъ дамы.

— Сейчасъ!—сказалъ мужъ.

— Ну?—обратился онъ къ швейцару, беря его за локоть.

— Потому что они поѣхали въ ту сторону, въ которую всегда хромой ѣздитъ!—Онъ при-



поднялся къ уху чернаго господина, вытянувшись на цыпочки, и окончивъ, протянулъ руку за деньгами.

Господинъ далъ ему только двугривенный и подергалъ за ухо, на что тотъ ничѣмъ не выразилъ неудовольствія: въ его карманѣ побрякивали деньги, а ухо... что ухо? Теперь у него не болѣла-бы и спина, ударъ даже по ней палкой. Такъ ужъ они сотворены: изъ особыхъ костей и мяса. Могутъ не расти дальше, остаться лилипутами. Они наблюдательны, знаютъ толкъ въ дѣвкахъ, не прочь пить, даже очень не прочь, могутъ выкуривать гаванскую сигару...

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Не лишенная интереса, такъ какъ въ ней, хотя и недостаточно серьезно, рассказывается о зарожденіи любви; заключающая въ себѣ немного поэзіи, а также идейности, что по нашему мнѣнію, должно найти одобреніе среди серьезныхъ людей.

Что такое любовь? Какъ проявляется она? Какъ зарождается? О это чудеснѣе всего, какъ зарождается она!

Просыпается Пичунасъ; въ комнатѣ сѣрый свѣтъ, еще далеко не разсвѣло, утренній холодъ его обнимаетъ и такъ чувствительно, будто во время сна съ приказчика содрали кожу. Онъ дрожитъ нѣсколько секундъ. Глухо вдали гудятъ фабричныя трубы. Внизу, въ подпольѣ черти ѣздятъ на стульяхъ, съ мѣста на мѣсто передвигаютъ столы. Сквернымъ дуэтомъ плачутъ дѣти, плачутъ во всю глотку, никого не стѣсняясь. Какою то монастырскою молитвою слышатся голоса старшихъ.

Сегодняшней ночью окна съ хорошимъ видомъ не занесло. Удивительно. Буря нагнала теплые вѣтры, которыя подтопили снѣгъ и съ крыши падали съ мягкимъ шумомъ капли.

Праздничный костюмъ помялся, какъ и лицо, глазки еле-еле различали очертанія всякаго умывальника и подъ нимъ на табуретѣ таза съ потрескавшейся эмалью.

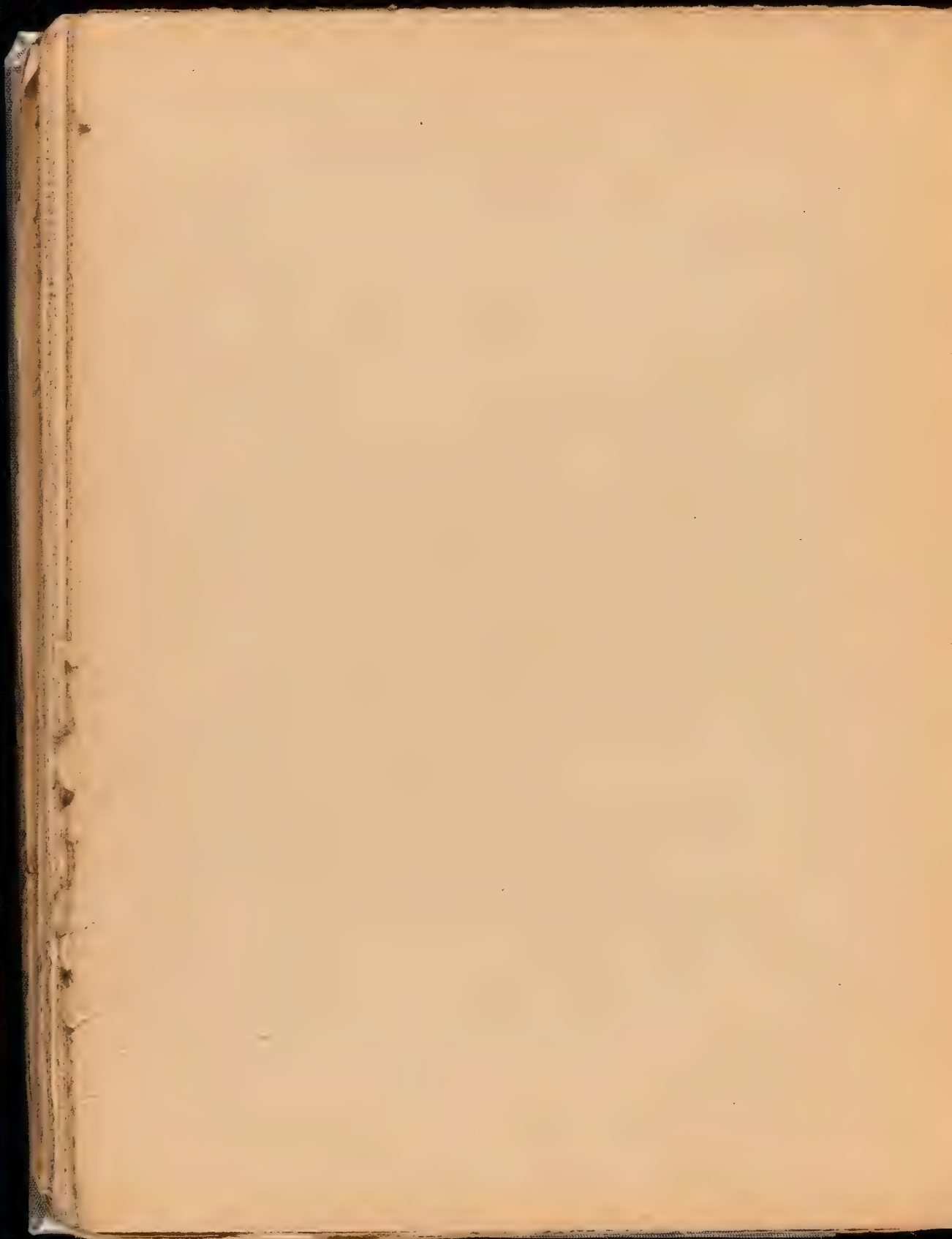
Вдругъ изъ темнаго угла, изъ того, гдѣ бѣлѣло длинное полотенце, подъ которымъ, какъ зналъ Пичунасъ, стоялъ солдатскій сундучекъ пріятеля, а рядомъ половая щетка съ переломленной до половины палкой, конецъ которой обгорѣлъ отъ подмѣшиванія въ печи,— вдругъ изъ того угла глянули на Яна темные, обведенные вокругъ жирными рѣсницами, глаза.

И быстро передъ бѣднымъ Яномъ чортъ домалевалъ шляпу съ лиловыми перьями, руки съ двумя дюжинами камней, желтую шелковую кофту и тѣфу, тѣфу, прочія гадости...

Гадости, да! Пичунасъ зналъ только, что эти вещи у всѣхъ дѣвицъ назывались гадостями... Эта же была барыней и—(страшно







даже подумать, а тѣмъ болѣе выговорить!)— графией. Съ дѣтства жизнь въ деревнѣ заложила въ Пичунаса свои правила и его цѣломудріе сохранило тѣ названія, которыя вложилъ въ деревенскаго мальчика двусмысленный страхъ такое же отвращеніе къ существамъ другого пола.

Въ головѣ Яна зашумѣло, быть можетъ, вчерашнее вино, внутри груди что то не то заныло, не то замлѣло. Ему захотѣлось даже вслухъ произнести имя той, которую онъ полюбилъ, но такъ какъ имени ея онъ не зналъ, то назвалъ ее просто „графией.“

„Графиня!“—выговорилъ онъ и испугался. Собственный голосъ показался ему какимъ то грубымъ и неуклюжимъ, совсѣмъ не достойнымъ произносить такое нѣжное имя.

Развѣ теперишняя его любовь походила хоть сколько нибудь на ту, какую онъ чувствовалъ когда-то къ дочери вахмистра, краснощекой Маріи?.. Да ничего подобнаго! Они встрѣчались, прощались просто, какъ знакомые. Разговаривали, боясь сказать что нибудь смѣшное, чтобы не осрамиться другъ передъ



другомъ... Развѣ только при прощаніи, когда онъ уѣзжалъ въ столицу, послѣ поцѣлуя оба опустили головы съ зардѣвшими щеками!.. А что онъ признавался въ любви къ Маріи господину Зацкеру... такъ это такъ... Такъ!.. Просто ему было пріятно вспомнить, что его кто то любитъ, ну и ему тогда казалось, что и онъ ее любитъ. Но это было совсѣмъ не такъ! Теперь же другое, совсѣмъ другое!

„Графиня!“—повторилъ онъ еще разъ и принялъ твердое рѣшеніе никогда больше не произносить этого слова,—такъ онъ его плохо выговаривалъ.

Прошло три, или даже еще больше мѣсяцевъ. Пичунасъ выйдя изъ высокихъ дубовыхъ дверей, о чемъ-то глубоко задумавшись, сталъ поспѣшно по своей привычкѣ спускаться по пурпурной дорожкѣ, обтягивавшей бѣлую мраморную лѣстницу. Лицо его осунулось, глаза впали, куриный пухъ подъ длиннымъ наивнымъ носомъ сильно отросъ и превратился въ еще менѣе красивую щетину. Синій пиджакъ на приказчикѣ былъ какой то поношенный и ветхій, такія же брюки, на ногахъ

несоразмѣрно большіе, вырыжѣвшіе башмаки.

— Дуракъ, дуракъ! Въ сторону!!! Я несу въ своемъ сердцѣ превеликую любовь, а ты мнѣ смѣешь мозоль отдавливать... Дуракъ, липнуть ты эдакій!

И Пичунасъ, получивъ сильный ударъ въ животъ, долженъ былъ отступить назадъ, но ему помѣшали ступеньки и онъ сѣлъ на верхнюю.

Это произошло почти на самой срединѣ лѣстницы, въ то время, когда приказчикъ спускался съ нея, а его превосходительство, уродливый дѣйствительный статскій совѣтникъ по ней же взбирался наверхъ.

— Что, отшибъ задъ?—съ участіемъ, вызваннымъ смущеніемъ, спросилъ ихъ превосходительство,—самъ виновать, самъ.

Уродъ остановился спиною къ открытому окну, выходившему во дворъ, откуда шелъ гулъ выколачиваемыхъ ковровъ, громкій говоръ и кверху подымалась пыль.

— Ну, что-же? Ты счастливъ по крайней мѣрѣ?

И такъ какъ Пичунасъ молчалъ, явно еще не приходя въ себя, его превосходительство повторилъ вопросъ болѣе громкимъ голосомъ.

— Ммм... бббе...—промычалъ приказчикъ дрожащимъ голосомъ.

— То есть, слѣдуетъ понимать, что ты несчастень?

Уродъ сдвинулъ на затылокъ взъерошенный цилиндръ и глубоко вздохнулъ.

— Таковъ удѣлъ всѣхъ сторожей и рабочихъ при музеяхъ и хранилищахъ драгоцѣнностей,—не понимать охраняемыхъ вещей. Въ какомъ она сегодня настроеніи?

— Въ обыкновенномъ, ваше превосходительство. При всѣхъ она страшно добрая, но какъ только остается наединѣ, совсѣмъ перемѣняется, рветъ, мечетъ... Бросила въ меня сегодня подсвѣчникомъ.

— За что?

Пичунасъ свѣсилъ голову, впечатлѣніе получилось такое, что онъ смотрѣлъ внизъ, на самомъ же дѣлѣ на его глаза навернулись слезы и онъ ничего не видѣлъ. Только, когда почувствовалъ, что одна капля сорвалась



и полетѣла внизъ, онъ испугался, какъ бы она не упала на голову швейцара, или кого другого. Поэтому онъ тотчасъ поднялъ голову и, смахнувъ слезы грязными пальцами, разсказалъ такую исторію:

— Госпожѣ графинѣ очень не нравится мое лицо. Но чтобы никогда не забывать, какъ она сама говоритъ, о томъ, что она—несчастливая женщина,—она велитъ мнѣ приходить къ ней каждый день. Когда ей очень тяжело, она меня ругаетъ всякими скверными именами, бросаетъ въ меня книгами, ножницами, а когда нѣтъ ничего подъ руками тяжелаго, то гребенками изъ головы. Это и не больно, и почти никогда онѣ до меня не долетаютъ.

— Ты счастливый человѣкъ,—съ завистью сказалъ уродъ и, уронивъ на дорожку одну слезу, подтвердилъ еще разъ свое мнѣніе,—въ тебѣ есть то, за что она тебя можетъ ненавидѣть; а я несчастень, очень несчастень: во мнѣ она даже этого не нашла. Она совсѣмъ забыла меня, не помнить!?

Уродъ внимательно слѣдилъ за Пичуна-

сомъ, надѣясь что послѣдній опровергнетъ его предположеніе.

— Она не вспомнила ни разу обо мнѣ?— наконецъ онъ просто спросилъ, не дождавшись желаннаго опроверженія.

— Никакъ нѣтъ,—тихо отвѣтилъ приказчикъ.

— Нѣтъ?—какъ бы улыбаясь и съ тихой грустью переспросилъ ихъ превосходительство.

Онъ полуобернулся къ окну, глядѣлъ, глядѣлъ долгое время на небо, потомъ тихо, еле слышно заговорилъ самъ съ собою. Многихъ словъ онъ не выговаривалъ, тогда только шевелилъ крупными, какъ у негра, губами. Лицо его приняло беззаботное и какъ бы вдохновенное выраженіе, лукавые глазки съ чрезвычайно маленькимъ разрѣзомъ перестали глядѣть обычно—плутовато,—и сдѣлались какими-то дѣтски искренними.

— Какой теплый воздухъ,—началъ онъ,—какое воздушное и тихое небо!.. Въ свѣтлыхъ, свѣтлыхъ кофточкахъ и юбкахъ ходятъ и ѣздятъ женщины!.. Въ соломенныхъ канотьеркахъ гуляютъ мужчины. Грязная вода течетъ

по каналу, мороженникъ дѣтишкамъ раздаетъ въ бумажкахъ мороженное, потомъ собираетъ съ нихъ копейки, покрытыя потомъ; лохматая собаченка бѣжитъ, высунувъ длинный розовый языкъ. Я все это вижу и примѣчаю, достойно оцѣниваю эту живую и вѣчную жизнь — и послѣ этого меня не любить эта женщина... жестокая женщина!! Я понимаю настоящую цѣну улыбки, злого взгляда, непроизвольной нѣжности—вниманія. Боготворю твои слабости, молюсь твоей безпомощности, пустая, безпечная бабочка! И ты презираешь меня?! Дѣточка, ты подобна той „лапландской“ публикѣ, осмѣивающей своихъ великихъ боговъ, своихъ художниковъ, творцовъ великой веселой жизни, мудрецовъ и философовъ, называя ихъ глупцами и уродами. Какъ истый философъ, люблю тебя!.. Кидай, моя дѣтка, въ меня тухлыми яйцами и гнилыми яблоками,—я люблю тебя.

И ихъ превосходительство, уродливый дѣйствительный статскій совѣтникъ, поправивъ на большой головѣ цилиндръ, намѣренъ былъ спуститься по лѣстницѣ на улицу, какъ вдругъ его взоръ упалъ на, очевидно, кѣмъ то утерян-



ную сложенную записку, покоившуюся на пурпурной дорожкѣ. Уродъ развернувъ ее, поднесъ къ глазамъ.

На клочкѣ листка, судя по формату и обрѣзу, изъ записной книжки съ линейками въ клѣтку, написано было:

— Требуется негръ, приходить отъ 3 до 5. Троицкая 4 кв...

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Которая легко могла бы носить названіе: „затишье передъ бурей“, въ которой авторъ еще прозрачнѣе заискиваетъ передъ глубокомысленной критикой, пыта-ясь изобразить сложную психологію.

Въ ванной комнатѣ шумъ воды: кто-то купается. Съ мохнатымъ полотенцемъ, простынями и большимъ въ мѣдной сѣткѣ флакономъ пробѣгаетъ рядъ комнатъ высокая служанка. Она выражена въ праздничное платье, въ какомъ обыкновенно уходитъ гулять, безъ передника и наколки.

Глубокая гостинная съ мебелью розоваго дерева, украшеннаго бронзою, съ высокими зеркалами, отдыхаетъ отъ ночного шума, споровъ, выкриковъ и табачнаго дыма, что не переставали ее терзать до девяти часовъ утра. Изъ оконъ, на которыхъ теперь подняты шторы и отдернуты портьеры, видна большая часть

столицы: трубы, крыши, стѣны, увѣшанныя плакатами, и голыя, съ узкими, почти какъ у бойницъ, окнами, купола церквей, кресты, башни модернистическихъ домовъ, палки надъ крышами домовъ разныхъ посольствъ съ поднятыми флагами и опущенными.

По комнатамъ трещать вентиляторы, на нѣкоторыхъ окнахъ волнуются занавѣски, надуваемые вѣтромъ, проникающимъ въ растворенныя форточки.

Служанка стучится въ двери. Шумъ воды умолкаетъ.

— Вы принесли одеколонъ?—спрашиваетъ изъ ванной женскій голосъ.

— Да, барыня

— Благодарю васъ. Теперь вы совсѣмъ свободны, прощайте. Спасибо за хорошую службу. Сегодня я завтракаю и обѣдаю у тетушки, и завтра по утру уѣзжаю.

— Прощайте, барыня! Счастливаго пути барынѣ. Всего хорошаго барину.

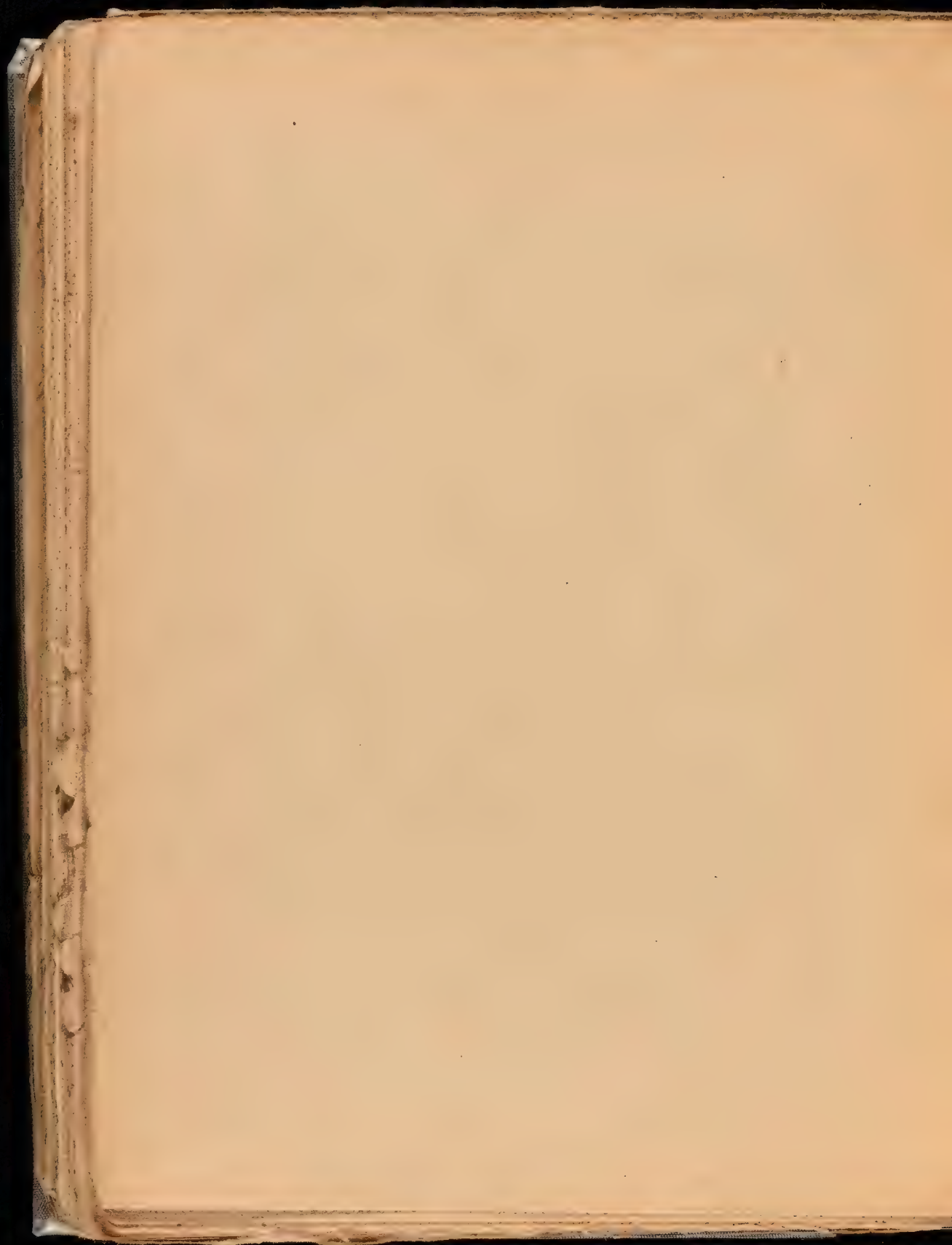
— Всего хорошаго и вамъ.

Служанка уходитъ.

Нѣсколько минутъ молчаніе. Зося, вѣро-







ятно, открываетъ одеколонъ; шума воды не слышно. Какъ вдругъ раздается таинственный, исходящій какъ бы изъ подполья, стукъ... Совсѣмъ тихо еще разъ повторяются два глухихъ удара въ стѣну.

— Она ушла?..

— Ушла,—отвѣчаетъ безразлично Зося глухому изъ за стѣны мужскому голосу.

— Идите и дожидайтесь меня въ кабинетъ мужа. Слышите, что я говорю?

Вмѣсто отвѣта слышались за стѣною удаляющіеся, осторожные шаги.

Не напудренная, съ кое-какъ собранными пепельными, слегка подмоченными, на маленькой головѣ волосами, съ неподведенными жирнымъ карандашемъ рѣсницами, въ красномъ капотѣ съ темно лиловыми отворотами, Зося казалась гораздо прекраснѣе обычнаго. Маленькое лицо, по большей части неподвижное, съ темными глазами, выражавшими то гнѣвъ, то ласковость, то досаду, или же злое-злое упрямство, — (выраженія простого каприза эти глаза не знали!)—теперь въ зеркалѣ отразилось выражающимъ удовольствіе



и легкую разморенность. Слабый, нѣжный румянецъ покрылъ худыя щеки, синія съ мелкими лиловыми вѣточками вѣки до половины закрылись, тонкія слегка воспаленныя губы потеряли обычную фрону, — (форму дѣтскаго рта любящаго сладости, съ нижней поджатой губой, а верхней мягкой и выпяченной впередъ) — и пріобрѣли выраженіе устали и жажды.

Маленькими руками при помощи быстрыхъ пальцевъ она уже успѣла насадить въ свои волосы больше дюжины шпилекъ, какъ вдругъ изъ дверей кабинета робко просунулась голова съ льяными жесткими волосами, длинный наивный носъ и подъ нимъ рыжеватая щетина.

Глаза Яна Пичунаса глядѣли незнакомо, съ какой то безсознательной наглостью и вмѣстѣ съ тѣмъ боязливо. Вотъ онъ появляется весь отъ головы до ногъ, герой злодѣйскаго, или сентиментальнаго романа! въ послѣднемъ онъ изображаетъ бѣднаго родственника, чудной души неудачника. Отросшіе усы и рѣзче, благодаря худобѣ, выступившія скулы оставили неизмѣненными отъ прежняго

Пичунаса только низкій лобъ и волосы. Постепенно, незамѣтно его фигура пріобрѣтаетъ оттѣнокъ какого-то фантастическаго романтизма.

— Іозефата Иракліевна! — съ трудомъ, сквозь низкое хрипѣніе выговариваетъ онъ — Іозефата Иракліевна! — повторяетъ громче и еще того страннѣе, голосомъ надорваннымъ, больнымъ.

Чудесная дама роняетъ изъ рукъ всѣ шпильки въ испугъ, но безъ вскрика, съ легкостью и ловкостью не человѣчьею, какой-то надженственной, почти пантеры въ маленькой образъ, проскальзываетъ надъ ковромъ, устилавшимъ полъ къ кровати.

Застѣнчивый Пичунасъ, Пичунасъ, который всегда былъ не въ силахъ преодолѣть своей ужасной робости, вызываемой всегда пустяками, — теперь не двигался съ мѣста при видѣ испуга самой графини, виновникомъ котораго былъ онъ, только онъ одинъ, то-есть его видъ. Въ этомъ отношеніи онъ былъ весьма чувствителенъ. Разъ дѣло касалось его смѣшной фигуры, онъ переставалъ быть наивнымъ.

Чѣмъ же можно было объяснить его теперешнее поведеніе?

Лицо выражало столько рѣшимости, глаза опредѣленную мужественную страсть, фигура... Фигура! Боже! что случилось съ нею? Подъ чѣмъ такимъ сильнымъ, смѣлымъ рѣзцомъ выравнилась она? Гдѣ та растерянность, карикатурная угловатость и чрезмѣрно нарочитая неуклюжесть?

Теперь глядятъ налившіеся кровью глаза, протягиваются впередъ красныя съ грубыми мозолистыми пальцами руки... (Движеніе, на которое никогда не доставало духа обыкновенному Пичунасу).

На самомъ же дѣлѣ, для себя самого, приказчикъ оставался тѣмъ-же, какъ всегда, только въ воспаленной и идущей кругомъ головѣ какъ бы билъ какой-то фонтанъ сильной, густой и обжигающей струей. Горѣли орбиты и глазнымъ яблокамъ отъ этого не вмоготу было жарко. Горѣло и все тѣло.

Зачѣмъ онъ протягиваетъ впередъ свои ужасныя, грубыя, неуклюжія руки? Э! не въ томъ дѣло!... Еще жарче пылаютъ орбиты



еще болѣе горячей струей фонтанъ въ головѣ обливаетъ мозгъ. Да проститъ ему Богъ! Не онъ впередъ протягиваетъ руки, совсѣмъ не онъ!

Графиня то вырастаетъ теперь, то дѣлается маленькой, ея глаза олицетворяютъ упрямство тысячи козловъ, но непередаваемо прекрасны... Узкими маленькими руками она съ какой то судорожностью натягиваетъ, желая плотнѣе закрыться, красный съ лиловыми отворотами капотъ. Фигура ея обрисовывается. Фигура, какъ бы еще не оформившейся, маленькой дѣвочки, неимѣющей въ себѣ никакой округленности, которая придаетъ женщинамъ соблазнительность.

Этотъ мужчина, Янъ Пичунасъ, схватилъ ее за узкія, маленькія руки и (какъ осмѣлился онъ?) потянулся губами къ ея губамъ. Она отворачивала лицо, нагибала все ниже голову, пока та не упала на подушки. Графиня крѣпко закусила свои воспаленныя узкія губы, сильными руками отталкивала его. Глаза по прежнему выражали упрямство, теперь къ нему присоединилась злость, какъ вдругъ руки Яна

ослабѣли, ослабѣло и тѣло, цѣликомъ все. Теперь ей уже не составляло труда оттолкнуть отъ себя приказчика.

Янъ свѣсилъ на одѣяло голову, протянулъ ослабѣлую руку вдоль своего тѣла, другую-же руку оставилъ около головы на одѣялѣ.

Какою любовью къ ней переполнилось вдругъ его сердце, что погасъ и жаръ въ орбитахъ и унялся столь опасный фонтанъ въ его головѣ?

Любовь еще не зрѣлая, юношеская, по силѣ почти дѣтская, преодолѣла другую вспыхнувшую, чувственную, мужскую. Грубыми руками сжать руки, къ которымъ легко прикасаться губами казалось чѣмъ то страшнымъ,— было чудовищно...

Но Пичунасъ не такъ укорялъ себя, какъ можно было подумать, увидѣвъ на его глазахъ слезы и на рукахъ поминутно сжимающіеся и разжимающіеся, мозолистые пальцы.

Счастья, необыкновеннаго и безконечнаго счастья, просило сердце приказчика для своей возлюбленной, безоблачнаго жизненнаго пути,

независимо отъ того, кто будетъ ея спутникомъ въ этой дорогѣ: онъ, или кто иной.

— Подите вонъ!—сказала полугромкимъ, но рѣшительнымъ и злымъ голосомъ, въ которомъ былъ еще и отгѣнокъ презрѣнія, графиня, приведя себя въ порядокъ.

И тотчасъ она отвернулась къ стѣнѣ.

Онъ покинулъ комнату.

Наивнымъ простымъ и глупымъ, всего черезъ нѣсколько секундъ, постучался вторично въ дверь Пичунасъ.

— Юзефата Иракліевна, — началъ онъ почти такимъ же сорвавшимся голосомъ, какъ и въ первое свое появленіе, докончивъ:—Я забылъ сказать, что пришелъ наниматься негръ! Онъ дожидается въ прихожей.—

Нанѣжный влюбленный взглядъ приказчика женщина въ состояніи была отвѣтить только разбитымъ и разсѣяннымъ. И приказала провести негра въ кабинетъ мужа.

Большеголовый, короткій и судя по крѣпкому сложенію, сильный негръ стоялъ у дверей полутемнаго въ этотъ утренній солнечный часъ кабинета, опутивъ голову, выставляя на



показъ завитые волосы черного цвѣта. Либо волосы эти были выкрашены, либо на головѣ натянутъ былъ театральнѣй парикъ, до того они имѣли видъ чужихъ волосъ.

Юзефата казалась задумчивой и усталой; она остановилась посреди кабинета и, не поднимая глазъ на негра, спросила его:

— Вы говорите по русски?

— Не карашо, — отвѣтилъ полугромко негръ.

— Громче, — тихо приказала Юзефата.

— Не карашо, — повторилъ негръ.

Она подошла къ нему ближе, отчего онъ на шагъ отступилъ.

— Поглядите мнѣ въ глаза, — приказала она.

Негръ поднялъ голову и соорудилъ привѣтливую гримасу.

Юзефата расмѣялась, провела, какъ бы невзначай собираясь что то сказать, рукой по отвороту его пиджака, затѣмъ отвернулась. Опять вышла на середину комнаты и, глядя теперь уже на письменный столъ мужа, уставленный множествомъ фотографическихъ карточекъ съ

длинными надписями, совершенно серьезно начала:

— Вы будете ходить подъ коричневой густой вуалеткой...

Какъ ни плохо понималъ негръ русскій языкъ, его глаза выразили изумленіе.

— Вмѣсто галстука, повяжете шелковый ярко желтый бантъ; подъ коричневой жилеткой у васъ будетъ жабо... Чулки... кружевные рукавчики... туфли!

— Фи сомнѣвайт...—началь негръ вдругъ пискливымъ голосомъ.

— Какъ? какъ?—въ крайней радости переспрашивала, быстро обернувшись опять къ нему, Іозефата. — Повтори!.. Сомнѣваюсь?..

— Сомини...—робко началъ было негръ, болѣе низкимъ голосомъ, и умолкъ.

— Сомини... Сомнѣваюсь, сомнѣваюсь!—повторяла, смѣясь всѣмъ ртомъ, она.

— Хорошее слово, хорошее слово и голосъ...

— Нѣтъ,—продолжала серьезно Іозефата,—Въ подлинности вашей я не сомнѣваюсь...

— Графиня, можно къ вамъ?—раздался за дверью низкій мужской голосъ.

Въ кабинетъ вошелъ сухой, высокій, въ свѣтло-сѣромъ пальто господинъ, гладко выбритый, съ чувственными очень красивой формы губами. Цвѣтъ лица у него былъ смуглый и онъ имѣлъ черные свѣтящіеся глаза; на головѣ волосы были очень коротко обстрижены.

— Ахъ! Такимъ вотъ я васъ люблю!—говорила графиня въ то время, какъ вошедшій цѣловалъ ей руку.—Уходите поскорѣе только, я въ ужасномъ видѣ.

— Ты—мой ангелъ, Іозефата...—господинъ уходилъ, помахивая желтой толстой палкой,—прекрасна!..

— Такъ вы согласны! въ часъ ночи, или лучше въ двѣнадцать?.. Да, даже непременно въ двѣнадцать, я ошиблась... У васъ паспортъ бѣлаго... чернаго?

— Негръ,—съ гордостью и радостью выговорилъ черный уродъ.

— Прекрасно! Въ двѣнадцать сюда.

Въ дальнихъ комнатахъ, вѣроятно, только



что появившійся смуглый господинъ ударилъ по клавишамъ рояли, взялъ два аккорда... и заигралъ начало увертюры изъ Оберона.

Графиня замерла на мѣстѣ, закрыла глаза. Лицо если бы на него вблизи могъ поглядѣть негръ, вдругъ сдѣлалось прозрачнымъ, нѣжнымъ, напоминающимъ красивыя лица на стеклянной живописи или на фарфорѣ.

Мягкіе аккорды, убѣгающіе въ піано съ низкихъ нотъ на верхнія и разсыпающіеся тамъ въ неземное дрожаніе (казалось даже будто скрипокъ)—возвращались опять назадъ съ такою же нѣжною волною прозрачнаго аккомпанимента...

Іозефата начала казаться такой тонкой въ таліи, словно стала таять. Солнце спряталось, кабинетъ помрачнѣлъ. Іозефату и негра какъ бы затянулъ какой-то сѣрый туманъ, похожій на дымъ отъ сквернаго табаку, какой бываетъ въ студенческой комнатѣ, послѣ ухода коллегъ.

Уродливому негру съ большой головой почудилось, что графиня Іозефата (для насъ же она и Зося) прошептала еле внятно:

— Только тебя одного хочу и...

Поэтому онъ упалъ къ ея ногамъ. На самомъ же дѣлѣ она совсѣмъ не то сказала, въ чемъ могло удостовѣрить вполнѣ ясное повтореніе.

— Вонъ, грязь!—и она ударила его носкомъ туфли въ правую щеку.

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

И тѣмъ болѣе интересная, что за нею слѣдуетъ только краткій эпилогъ.

Въ седьмомъ году въ столицу пріѣзжала нѣкая американка, интересовавшаяся русскимъ сектантствомъ; при ней безотлучно находился негръ въ голубомъ костюмѣ, имѣвшій на головѣ соломенную дамскаго фасона шляпу; лицо его покрывала густая, лиловаго цвѣта вуалетка. Негръ вездѣ сопутствовалъ своей госпожѣ; по счастью она мало любила ходить пѣшкомъ, больше ѣздила.

— Что фи скажетъ, господинъ казачокъ? — спросилъ, сохраняя на своемъ черномъ лицѣ таинственную многозначительность, негръ графини Іозефаты, приближаясь къ казачку той же особы, который сидѣлъ надъ разложенными на столѣ пожелтѣвшими листками стараго сатирическаго журнала, сосредоточенно



подпирая обѣими руками голову съ жесткими льяными волосами.

Это происходило въ одномъ изъ маленькихъ номеровъ самой большой въ столицѣ гостинницы, помѣщавшемся въ верхнемъ этажѣ и имѣвшемъ окно, изъ котораго можно было снимать виды города, чтобы печатать ихъ подъ эффектнымъ подзаголовкомъ „съ птичьяго полета“.

— Не читай дальше, казачекъ!—проговорилъ съ сильнымъ акцентомъ тотъ же негръ и изъ подъ носа казачка выдернулъ пожелтѣвшіе обрывки,—тальше не карашо!

— Я не удивляюсь,—началъ печально казачекъ,—на своемъ вѣку имѣлъ я счастье видѣть, какъ господа ѣли лягушекъ.

Черный уродъ съ большою головою и огромными чертами лица съ узкими глазами и губищамъ, какія и подобало имѣть только негру, вскарабкался съ ногами на кровать и обхвативъ колѣни маленькими ручками въ коричневыхъ перчаткахъ, затанулъ въ носъ негритянскую пѣсеньку.

Весьма возможно, что пѣсенька была и

не негритянская, но за такую принялъ ее казачекъ, и вслушиваясь въ бубненіе урода, загрустилъ.

Пока онъ стоялъ у окна и любовался изъ него видомъ, память перебирала въ головѣ всѣ достойные и мало достойные вниманія случаи изъ его жизни.

Какъ господа ѣли лягушекъ, какъ его матери такіе же самые господа запретили вывѣшивать для просушки простыни и другое бѣлье передъ своими окнами... Много на своемъ вѣку этотъ „казачекъ“ видѣлъ разныхъ господъ, входящихъ и выходящихъ въ парадныя двери, ѣздящихъ въ каретахъ и прогуливающихъ пѣшкомъ,—и вотъ ужъ никогда бы не подумалъ, что ему придется такъ близко сталкиваться съ подобными господами... что судьба его, такого смѣшного и неуклюжаго, такъ обернется, что онъ осмѣлится поцѣловать въ щеку сопротивляющуюся барыню.

И что-то на подобіе холоднаго пота при послѣднемъ воспоминаніи выступило на плечахъ казачка.

Онъ въ богатыхъ большихъ комнатахъ хо-

дить, сидить, изрѣдка съ нимъ разговариваютъ разные гости, тоже всякіе господа и не обыкновенные, а генералы въ статскомъ, графы и имѣющіе цѣлый банкъ банкиры.

Приходившіе въ нотную лавку, даже пріѣзжавшіе, не казались такими важными, какъ эти; правда, они капризничали, ругались, но всѣ назывались просто покупателями, не больше, не меньше. Были покупатели особенные... но это ни къ чему. Удивляться всему, что дѣлали господа, это что-же? Значило бы отдать все свое время только на удивленья. Поэтому казачекъ не удивлялся.

Отъ одного удивленья, да отъ другого, да отъ третьяго,—можетъ закружиться голова... Онъ просто любилъ. И отъ любви кружится голова, но любви за то никакъ не отогнать... Не передать того чувства, какое онъ переживалъ, когда барыню цѣловали то тотъ, то другой изъ гостей. Сердце его сжималось, даже когда онъ былъ пьянымъ, при звукахъ быстрыхъ шаговъ служанокъ, уносившихъ по черной лѣстницѣ въ нижній этажъ мѣшокъ съ портсигарами, бумажниками и часами. Од-



нажды ему хотѣлось самому плакать, когда такой толстый, такой красный банкиръ на колѣняхъ передъ высокимъ сухимъ и чернымъ мужемъ барыни плакалъ, выпрашивая какіе-то ключи и квитанціи. А страшнымъ показался этотъ самый мужъ барыни, которую казачекъ любилъ всѣми кусочками своего тѣла, когда ночью въ одной рубашкѣ вбѣжалъ съдой господинъ въ его кабинетъ и началъ кричать, какъ будто его рѣзали, размахивать руками, а черный, худой показалъ ему, взявъ съ большого стола, уставленнаго множествомъ надписанныхъ фотографій только одну самую маленькую,—какъ съдой поблѣднѣлъ лицомъ и вышелъ изъ кабинета.

Въ однѣхъ комнатахъ гости всю ночь пили, въ другихъ играли въ карты, а въ самыя дальнія ходила только барыня и иногда ея племянники—молоденькіе военные.

Когда однажды господинъ Зацкеръ разговаривалъ такъ громко въ театрѣ, что теперешній казачекъ убѣжалъ, тогда ему было очень стыдно за господина Зацкера, но ни съ чѣмъ нельзя сравнить, какъ ему бывало стыдно те-

перь, когда господа за столомъ въ той комнатѣ, гдѣ пили вино, говорили непередаваемые слова.

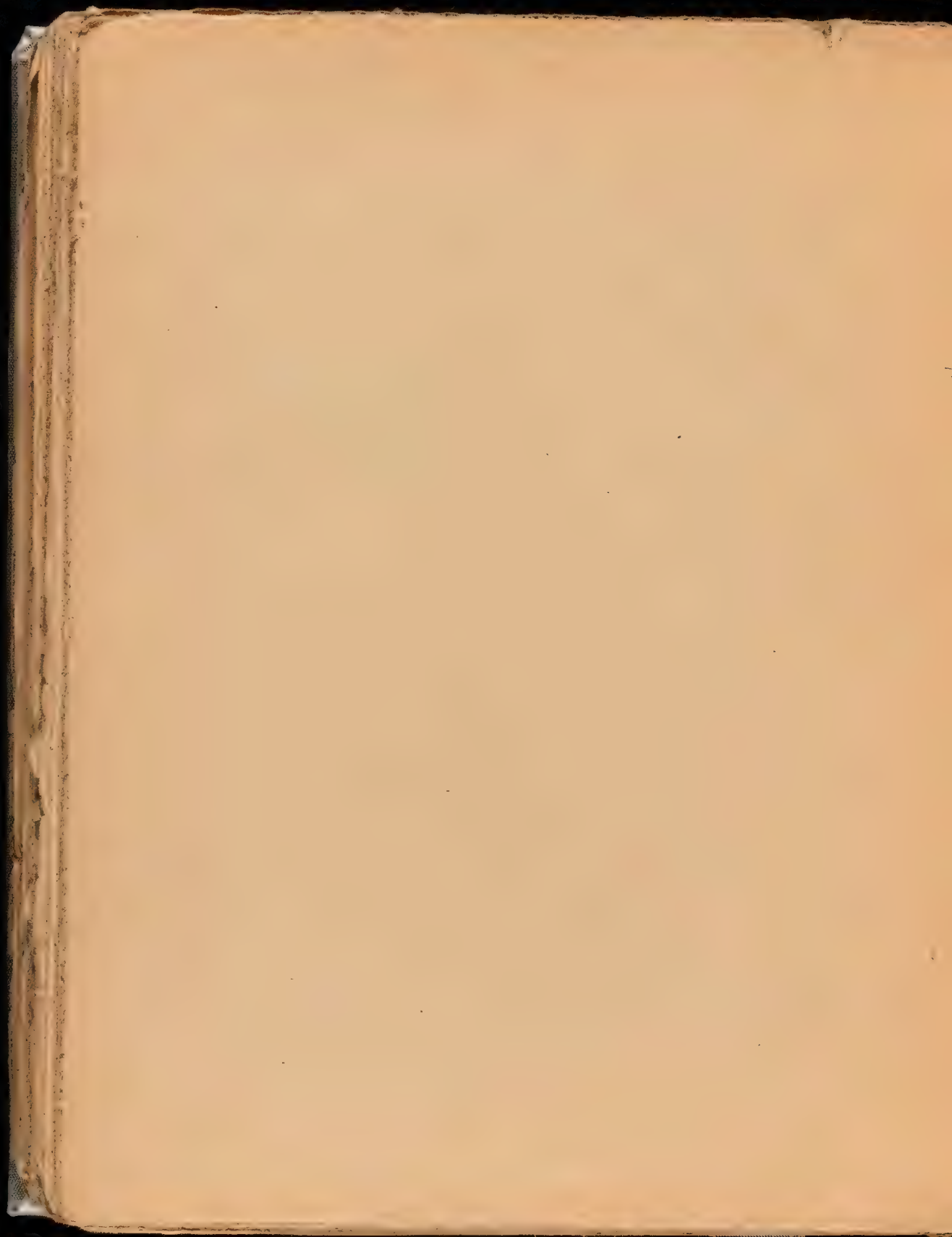
Изъ Янка, моющаго бутылки у сосѣдняго пивника, онъ превратился въ приказчика Пичунаса и даже г. Пичунаса, затѣмъ на три мѣсяца въ чиновника, который сшиваетъ бумаги и наклеиваетъ на книги ярлыки, потомъ въ казачка, который долженъ чистить обувь, бѣгать съ письмами и порученіями и вратъ, что онъ пріѣхалъ изъ Швеціи...

Негръ окончилъ пѣсеньку и засвисталъ другую, Пичунасъ же никогда-бы не кончилъ своихъ воспоминаній будь память у него покрѣпче и умѣй самъ онъ лучше разбираться въ загадочныхъ, необъяснимыхъ случаяхъ жизни. Изъ тѣхъ же случаевъ господинъ Зацкеръ, вѣроятно, вывелъ бы заключеніе проще простаго, то есть такое, что передъ собою онъ имѣлъ весьма дурную компанію шантажистовъ, шулеровъ и... но тонкій знатокъ музыки и женщинъ здѣсь бы ошибся...

Въ этой повѣсти одинъ только изъ героевъ ея съ самой тонкой душой и съ самымъ тон-







кимъ воспріятіемъ могъ бы разобраться въ сложной суетѣ поступковъ графини Іозефаты и ея смуглаго сухого мужа. Это былъ негръ сидящій съ ногами на кровати и насвистывающій теперь меланхолично вальсъ изъ Лекоковского „Зеленаго Острова“.

— Такъ ты, казачекъ, говоришь, что Зося вчера сказала: „четырехсотъ тысячъ недостаетъ до милліона“? — прекративъ насвистываніе вальса, со вздохомъ выговорилъ негръ пискливымъ и безъ малѣйшаго африканскаго какъ и американскаго акцента, голосомъ.

При этихъ словахъ онъ осторожно сползъ съ кровати и подойдя къ платяному шкапу съ зеркаломъ, остановился и началъ вглядываться въ свое безобразное отраженіе.

— Вчера ночью, когда графиня думала, что я ушелъ изъ первой комнаты, сказала она тихонько, перебирая синія бумаги: „четырехсотъ тысячъ не хватаетъ до милліона“...

— Прекрасно, прекрасно! Времени значитъ еще много!—и перейдя вдругъ на еще болѣе пискливый тонъ, негръ заговорилъ умоляюще и быстро: — Вѣтры, вѣтры, дуйте сильнѣе,

дуйте сильнѣе на тонкія связки! Порвите нитки, узелочки на кусочки, на маленькіе кусочки!.. У меня найдутся связи, сдѣплю... Однихъ въ тюрьму, темницу брошу, ее на стулъ высокій посажу! У ножекъ лягу собачкой, лаять стану: гамъ, гамъ... тявъ, тявъ!...

Пичунасъ стоявшій у стола, покрытаго бѣлой скатертью, на которомъ стояли стаканы, лежала сухая булка, масло и одинъ ножъ, брошенный вонъ изъ номера, потянувъ за собою бѣлую скатерть со всѣмъ скуднымъ завтракомъ.

Въ корридорѣ было тихо, пусто. По обѣимъ сторонамъ рядъ темно-желтыхъ дверей, изъ которыхъ въ иныхъ торчали ключи. Изъ одной пріотворенной вышла горничная съ зеленымъ графиномъ въ одной рукѣ и большимъ ведромъ въ другой. Она прошла торопливо мимо Пичунаса, даже не поглядѣвъ въ его сторону.

Янъ испугался, что черный уродъ съ ума сошелъ, оттого такъ поспѣшно и выбѣжалъ изъ номера, который для нихъ обоихъ держала Іозефата. На душѣ у Пичунаса сдѣлалось такъ уныло, что сходя по лѣстницѣ и



глядя вдоль сѣтки лифта внизъ, захотѣлось ему броситься и расшибиться на смерть.

На такой непонятности, на такой чепухѣ, казалось ему, построенъ былъ весь міръ, что онъ не могъ найти иного выхода, какъ перестать съ нимъ сталкиваться разъ навсегда.

Сойдя въ пятый (считая сверху) этажъ, онъ поглядѣлъ въ замочную скважину однѣхъ дверей, другихъ... Въ первой онъ увидѣлъ свою маленькую барыню, сидящей на бѣломъ съ зелеными полосами диванѣ, съ книгою въ рукахъ и на ея колѣняхъ голову шведскаго принца съ длинной русой бородой, одѣтаго въ свѣтлые брюки и такую же жилетку, безъ пиджака. Іозефата ласковымъ голосомъ ему читала.—Въ замочную скважину другихъ дверей Пичунасъ увидѣлъ сидящаго за столомъ худого, смуглаго, съ красивыми, выпяченными чутьчку впередъ, губами, гладко выбритаго мужа графини. Онъ держалъ въ рукахъ колоду картъ и выбрасывая изъ нея то одну, то другую карту, сдавленнымъ голосомъ выкрикивалъ съ разными интонаціями.

— Шесть!

— Девять!

— Жиръ!

— Три!

При этомъ онъ успѣвалъ еще то придвигать къ себѣ, то отодвигать отъ себя золотыя и серебряныя деньги, усыявавшія весь небольшой столъ. Лицо его сильно двигалось и онъ то улыбался, то злился, скрежеща зубами. Пичунасъ отошолъ отъ дверей. И въ этомъ корридорѣ было тихо; отдаленно только дребезжалъ вентиляторъ. Онъ пришелъ въ самый конецъ корридора... Въ это время его розыскивалъ уродливый негръ, забѣгая то въ одну, то въ другую уборную.

— Слушай, казачекъ,—началъ негръ, наконецъ отыскавъ его.—Но ты плачешь?—прервалъ негръ самого себя.

— Нѣтъ... Пожалуй, я и не плачу, господинъ негръ. Глаза у меня, можетъ быть, намокромъ мѣстѣ...

Поглядывая боязливо на чернаго урода, Пичунасъ опустился на подоконникъ, отеръ глаза.

— Я думаю, господинъ негръ, что дальше тутъ оставаться мнѣ не слѣдуетъ.

— Сейчасъ уйдемъ, сейчасъ уйдемъ, — отвѣтилъ тотъ, обводя глазами стѣны и полъ.

— Потому что, — тихимъ голосомъ продолжалъ онъ — вампиръ свои когти все глубже и глубже вонзаетъ въ мое тѣло.

— Да, да, да! — разсѣянно подтвердилъ уродъ, поглядывая на дверь.

— Такую я это картину, господинъ негръ, видѣлъ въ кинематографѣ... Тутъ вотъ по сосѣдству... что послѣ нея мнѣ все стало яснымъ.

— Ну-у-у?

— Да... Такой дикій лѣсъ представленъ... Туда приходитъ въ узкомъ пиджакѣ, съ большими на головѣ волосами художникъ и начинаетъ рисовать видъ... какъ вдругъ кустъ шевелится и изъ подъ него выползаетъ, какъ звѣрь, или змѣя какая нибудь, еле одѣтая женщина съ распущенными волосами, и подмигиваетъ художнику, и руки за голову закладываетъ, — хвалится своими волосами... Вы понимаете, господинъ негръ, что ужъ, какъ



человѣку суждено будетъ влюбиться, такъ, онъ и на лицо не посмотритъ: красивое оно, или нѣтъ—все равно полюбитъ.

— Все равно полюбитъ, все равно...—съ волненіемъ подтвердилъ уродъ.—Зачѣмъ только ты меня негромъ называешь? Я не негръ, я—дѣйствительный статскій совѣтникъ... Меня только любовь выкрасила въ негра, а я тотъ самый генераль, у котораго ты былъ секретаремъ... Безграмотный ты секретарь, по правдѣ сказать, ну да ужъ когда любишь, ни въ чемъ не разбираешься! Я завтра перекрашусь. Шведскій принцъ уѣдетъ—и перекрашусь. Шулера—мужа графини въ тюрьму упрячу, къ теткѣ пойду, съ которой вотъ ужъ пятнадцать лѣтъ какъ въ ссорѣ, а своего добыюсь. Къ чорту благородство! Я дальше такъ не могу...

На глазахъ у негра навернулись слезы, онъ досталъ платокъ и долго вытирался, сморкался...

— Такъ я доразскажу--задумчиво сказалъ приказчикъ,—какъ художникъ не могъ глазъ больше отъ этой самой женщины отвести, тутъ она и начала танцовать... Кружилась,

кружилась... И музыка тутъ въ это время страшная какая то играетъ: быстрая, похожая на галопъ, а женщина кружится, кружится... Художникъ на мѣстѣ усидѣть не можетъ: онъ и съ этой стороны подойдетъ къ ней, и съ другой, — а она все убѣгаетъ. Наконецъ, взяла и крѣпко его поцѣловала. Тутъ они вдвоемъ затанцовали. Какъ остановятся, женщина его укуситъ въ шею и кровь оттуда пьетъ; тогда онъ отъ нея убѣгаетъ, но сейчасъ же покружится, покружится, держась за укушенное мѣсто, и больно ему, а онъ опять къ ней возвращается... Ничего не можетъ подѣлать, потому что ужъ влюбился въ нее.

Его превосходительство въ черномъ видѣ выпучилъ на разказчика свои бѣлки, — сильное впечатлѣніе произвелъ на него разказъ приказчика: онъ не смѣлъ, казалось, двигать растопыренными руками и весь окаменѣлъ.

Увлечшись разказомъ, самъ Пичунасъ впалъ въ пафосъ: онъ простиралъ впередъ руки и то печально покачивалъ головой, то злая усмѣшка пробѣгала по его губамъ.

— Художникъ бѣгалъ и въ ту, и въ другую сторону, а ужъ отъ женщины не могъ убѣжать. И за кусты прятался, а она его найдетъ и опять кусаетъ, и опять изъ него высасываетъ кровь, потому что она — вампиръ — эта женщина... Такъ художникъ боролся, боролся, пока обезсиленный не упалъ. Тогда вампиръ высосалъ изъ него остатокъ крови и, облизываясь, уползъ обратно въ кусты...

Такъ Пичунасъ закончилъ описаніе ужасной картины, видѣнной въ сосѣднемъ кинематографѣ, и поникъ головой.

Задумался и уродъ, не мѣняя закаменѣлой позы, потомъ вздрогнулъ, взъерошилъ на головѣ волосы и заговорилъ поспѣшно такъ:

— Бѣги!... Ты долженъ бѣжать! Не для твоего сердца великія, всепоглощающія страсти, не для твоего ума высшія наслажденія, путь къ которымъ — тернія, тернія и тернія!.. Я открою тебѣ глаза: графиня и ея мужъ — ужасные преступники!.. Онъ — убійца — звѣрь, для него человѣческая жизнь равна жизни таракана, мухи... Теперь ты испугаешься и пой-



мешь, что тебѣ надо бѣжать... Ты правъ: она — вампиръ.. Они оба... играютъ только на страстяхъ человѣческихъ, они представляются сочувствующими имъ, ихъ поощряющими, на самомъ же дѣлѣ они изъ великихъ человѣческихъ слабостей извлекаютъ себѣ наживу... Ни слезы, ни горе, ни раскаяніе не трогаютъ ихъ, они разрушаютъ очаги, разъединяютъ сердца, какъ палачи отъ туловища отдѣляютъ головы. Съ Шведскимъ принцемъ у нихъ, такъ сказать, игра еще не большая, но мы съ тобою соучастники этого злого, ужаснаго умысла. Приказчикъ, бѣги, пока не поздно! Тебѣ говорю, бѣги!.. Скоро заколеблются своды и вся эта ужасная, злодѣйская, милліонная постройка рухнетъ... Бѣги же, говорю, ибо зачѣмъ ей подъ своей тяжестью погребать и тебя, глупаго, безсмысленнаго?.. Я... я одинъ съ нею, съ моимъ божествомъ, фальшивой, лживой, преступной Іозефатой погибну... Я хочу... желаю этого, я буду счастливъ!.. А ты, ты ни къ чему здѣсь... Иди, иди скорѣе!—

Приказчикъ медленно направился къ дверямъ; за нимъ въ молчаливомъ волненіи слѣдо-

валъ уродъ, но когда они очутились въ коридорѣ, ихъ превосходительство вдругъ со страшной силой сжалъ кисть руки Пичунаса и измѣнившимся пискливымъ голосомъ удавленника прохрипѣлъ:

— Слышишь-ли?

И дѣйствительно, въ какую нибудь секунду вся гостинница какъ бы обезумѣла отъ тревожныхъ и пронзительныхъ электрическихъ звонковъ; загудѣли разомъ всѣ три лифта, полѣстницѣ слышались шаги какъ бы какой погони.

— Поздно, поздно! — хрипѣлъ ихъ превосходительство.

— Чернымъ ходомъ, чернымъ ходомъ! Боже тебя упаси, дуракъ, параднымъ! Ну, маршъ... И молиться за меня! Помни!! — съ этими словами, произнесенными съ какой то безумной интонаціей, уродъ высвободилъ изъ своихъ маленькихъ цѣпкихъ рукъ руку приказчика и побѣждалъ, что было духу, вверхъ по лѣстницѣ.

Открывались со всѣхъ сторонъ двери, высовывались разныя головы, густо нафикса-

туаренныя и встрепанныя со сна, въ чепцахъ и папильоткахъ...

Пичунась крѣпкими шагами подвигался впередъ, миноваль корридоръ и, пройдя комнаты служащихъ, черную лѣстницу и наконецъ узкій, высокій дворъ, благополучно очутился на улицѣ.

### ЭПИЛОГЪ.

Вотъ и конецъ повѣсти, какъ въ серединѣ ея обѣщано, — трогательной. Сейчасъ Пичунась встрѣтитъ господина Зацкера, а съ нимъ обрящеть и... Но что же въ дальнѣйшемъ происходитъ съ Іозефатой и ея мужемъ, что съ перекрасившимся уродливымъ дѣйствительнымъ статскимъ совѣтникомъ? Удалось ли ему выйти бѣлымъ изъ этой, какъ рассказывалось намеками, черной исторіи? Кто такіа Копыткинъ и князь Федоръ? А что же, авторъ такъ и не расскажетъ подробнѣе, или же хотя бы только нѣсколько яснѣе, зачѣмъ графинъ Іозефатъ понадобилось изъ квартиры на Троицкой переѣхать въ гостинницу? И за-



чѣмъ нужно было, чтобы негръ ходилъ подъ вуалеткой?

Авторъ, выслушивая разсѣяннѣе всѣ эти вопросы, еще того разсѣяннѣе глядитъ по сторонамъ.

— Юзефата, — наконецъ выговариваетъ онъ, — это польское имя...

— Ну, а дальше? Осмѣливаемся спросить.

— Копыткинъ и князь Федоръ — люди совсѣмъ посторонніе... А графиня и ея мужъ... Что-же? Они сами по себѣ, а дѣйствительный статскій совѣтникъ — самъ по себѣ... Вѣроятно, какъ ловкимъ мошенникамъ, имъ удалось скрыться, а уродливому совѣтнику ничего не оставалось, какъ выкупаться... Что-же до вуалетки, то уроду, кажется, ея не пришлось надѣвать. А зачѣмъ графиня переѣхала въ гостинницу? Это я склоненъ отнести къ мало понятнымъ поступкамъ вообще многихъ и многихъ господъ... На этомъ я позволю себѣ закончить повѣсть.

Господинъ Зацкеръ шелъ по мосту въ обществѣ одной довольно страннаго вида дамы. Конецъ неба былъ выкрашенъ въ золотисто-

красную краску, остальная часть его освѣщала городъ лиловатымъ свѣтомъ сумерекъ, въ темной водѣ канала отражались ранніе фонари.

Дама господина Зацкера была одѣта въ ярко зеленую кофточку, на ея шеѣ было крупное стеклянное ожерелье, на головѣ же огромная шляпа, вся убранная всевозможными цвѣтами самыхъ яркихъ красокъ.

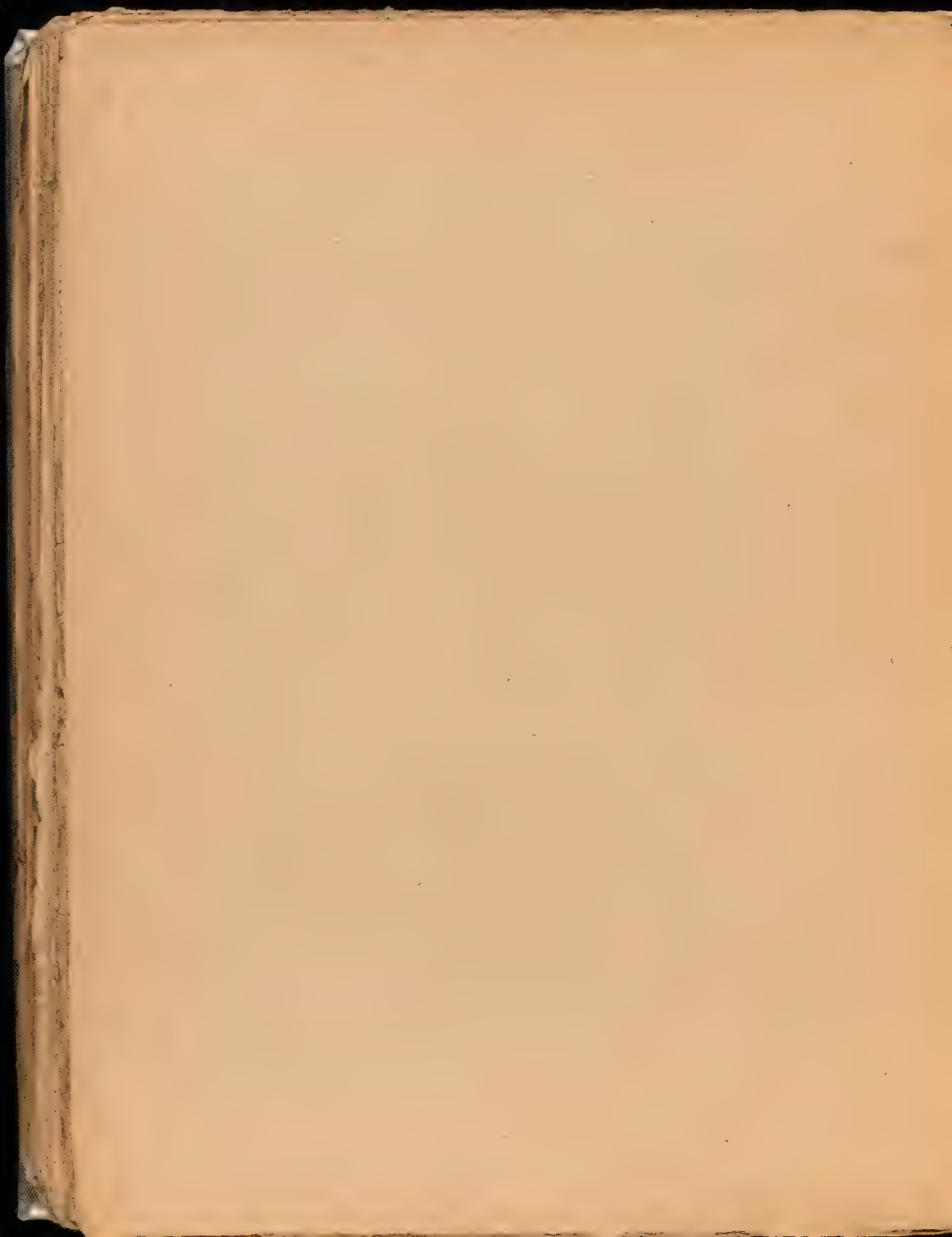
— Вотъ онъ!—сказала въ крайнемъ волненіи она и чуть не упала; хорошо, что пошатнувшись, ухватилась за руку господина тапера.

Передъ ними выросъ Янъ Пичунасъ, истощенный, съ блуждающими глазами и поникшей головой.

— Здравствуй, Янъ!—сказала полнымъ отъ счастья, груднымъ голосомъ Марія и хотѣла, все забывъ, поцѣловать его тутъ-же, при всѣхъ.

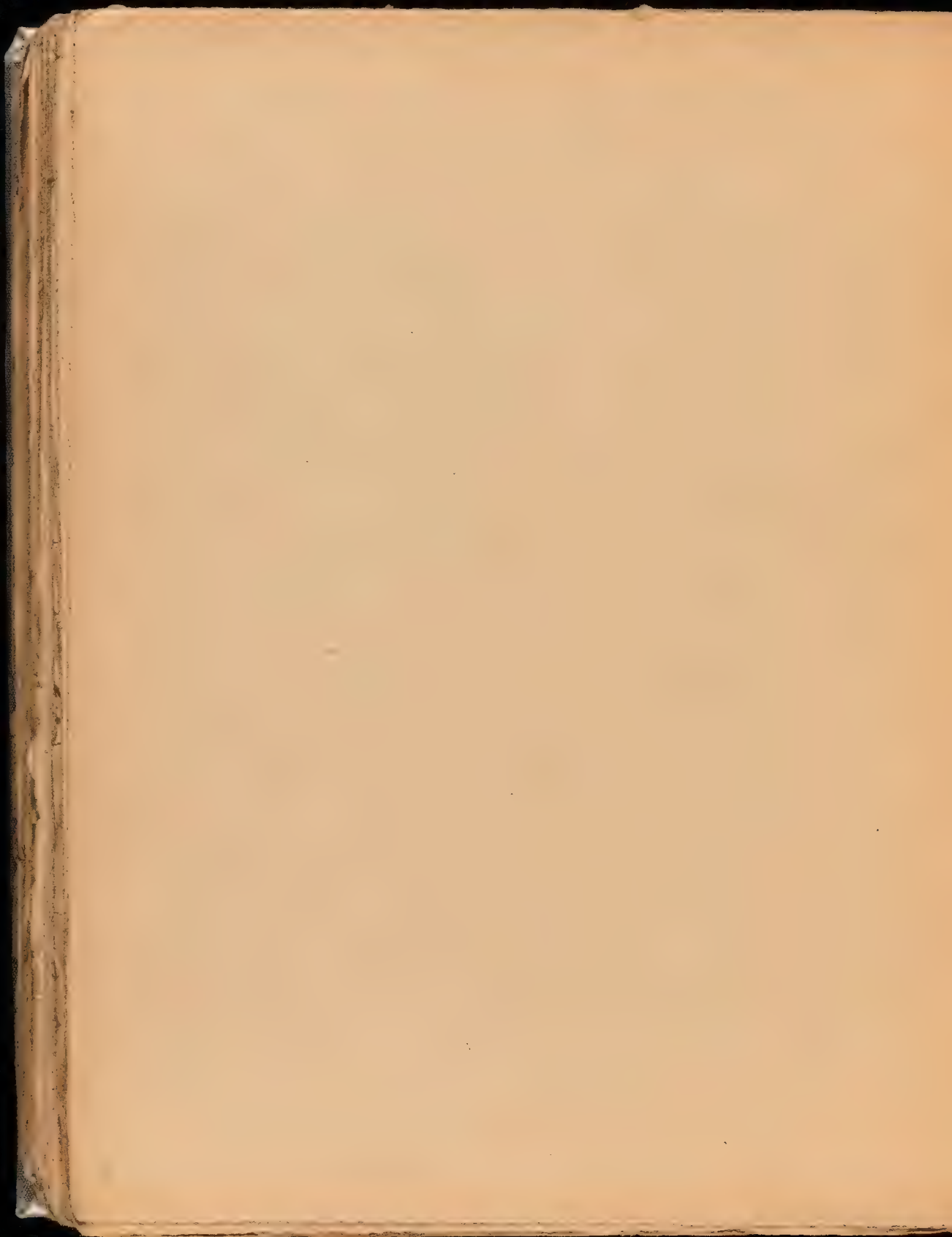
Онъ только покраснѣлъ и, высвободившись изъ объятій невѣсты, замѣтилъ, что на улицѣ цѣловаться неудобно.

1914/5 г.



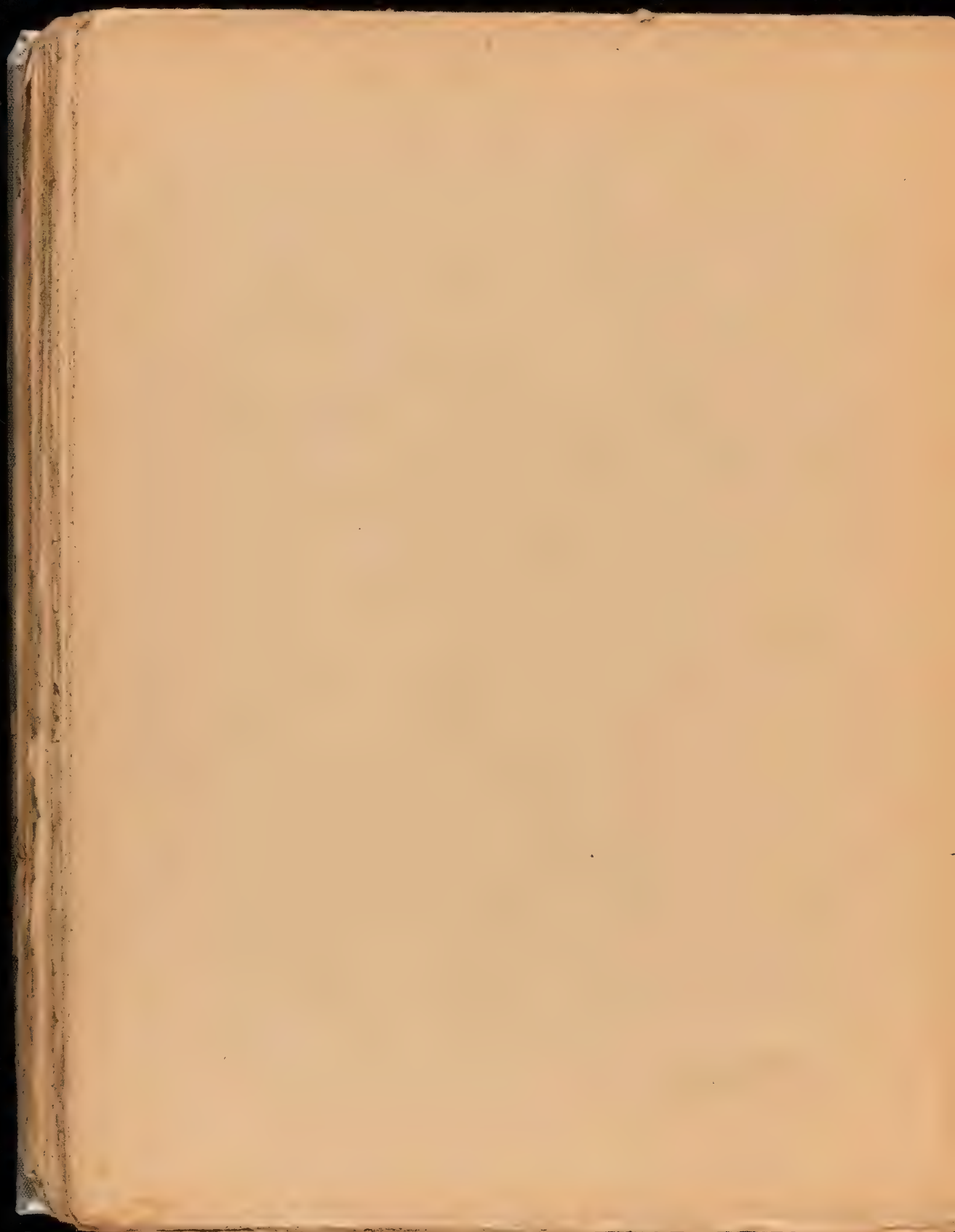






Клубъ благотворительныхъ  
скелетовъ.





I.

**Первый часъ пополуночи.**

Дождь; сквозь тускло-стальные зигзаги его спутанныхъ проволокъ видны кружащіяся туманно вокругъ газовыхъ языковъ колеса-ореолы. Небо—черное, удивительно только, что въ эту пору на горизонтѣ обрисовала всѣ длинныя зданія серебряная полоса, будто разсвѣта. Согбенныя надъ Невою, мерцають высокія черныя висѣлицы въ ожиданіи сигнала, чтобы ожить и завизжать пронзительно своими ржавыми цѣпями.

Съ трудомъ дыша, разгоняетъ воду грузовой пароходъ; изъ его трубы сыпятся тяжеловѣсные фонтаны кровавыхъ искръ. Глядитъ множествомъ коричневыхъ отъ копоти оконъ верфь... Одна смутно различаемая громада медленно ползетъ за наполняющимъ воздухъ

тревогою, искрами и чахоточнымъ хрипѣніемъ грузовикомъ... Сотрясаются мостовыя отъ глухихъ подземныхъ шумовъ... Трепещутъ мелкой лихорадочной дрожью всѣ зданія: Томоновская Биржа, Адмиралтейство, Синодъ и Сенатъ...

Кончился вечеръ, гаснутъ обманчивые волны пузыри... Разбрелись по домамъ чиновницы, купчихи, актрисы...

Мимо рѣшетки сада при Адмиралтействѣ со стороны Невы проходили двѣ фигуры, обѣ въ переливающихся черныхъ цилиндрахъ и черныхъ пальто...

— Остановитесь, г. Секретаревъ,—крикнула одна фигура другой, и низко нагнувшись къ троттуару, подняла что-то и это что-то не безъ граціи передала второй.

— Ахъ, ахъ!—томно провздыхала вторая фигура,—благодарю васъ.

— Кто бы могъ предсказать, что это случится именно сегодня?—продолжала она и вытащивъ изъ кармана яркій бѣлый носовой платокъ, продушенный приторно удушливыми духами, бережно завернула въ него невѣдомый, утерянный было, предметъ.



— Еще разъ благодарю васъ... Это давно... Я узналъ о его болѣзни еще тогда, когда мнѣ пришлось стать къ „призыву“ для исполненія воинской повинности... Какъ теперь помню: наканунѣ ночью я пьянствовалъ, пилъ много чернаго кофе, поэтому оно, видите ли, и пришло въ нѣкоторое ненормальное состояніе... Меня и признали благодаря ему негоднымъ. Вскорѣ я обо всемъ этомъ забылъ... Правда, иногда я прикладывалъ руку къ ребрамъ,— ужъ очень забавно оно у меня прыгало! Какъ птичка хе, хе, хе,—говорившая фигура захихикала шероховатымъ деревяннымъ смѣхомъ. Въ то время первая, любуясь блестящими мелькающими носками своихъ галошъ, пыталась спрятать поглубже въ воротникъ голову, причемъ цилиндръ отъ прикосновенія къ поднятому воротнику выказывалъ намѣреніе соскочить съ головы своего владѣльца; тогда неизвѣстный ловилъ его руками, на которыхъ какъ то странно обвисали свѣжія, хорошія, блѣдно-желтыя перчатки.

— Господинъ Скрипицынъ, вы не презираете меня за то, что я его такъ бережно

укуталь? Оно мнѣ, видите ли, необходимо на сегодняшній вечеръ. Хе... хе... Видите ли, есть одна блондиночка... но вы понимаете... хе, хе... Охо,—хо!!.—Вамъ должно быть понятно желаніе согрѣться, хе, хе... Скелетикъ, желающій согрѣться... Это даже есть такая картинка у англійскаго художника Джемса Энзора... то бишь, у американскаго... хе, хе... а можетъ, онъ и англичанинъ... не знаю въ точности. Объ этомъ спросить слѣдовало бы у великаго Врубеля... Вотъ къ слову пришлось—по правдѣ сказать, мнѣ не нравится Врубель: въ немъ и жизни нѣтъ, и онъ не совсѣмъ нашъ... То-ли дѣло величайшій Леонардо.—настоящая мертвечинка! хе, хе... имъ если и согрѣться нельзя, то все же есть надъ чѣмъ призадуматься... Но, господинъ Скрипицынъ, теперь за вами очередь остановиться...—говорившій задержалъ за рукавъ первую фигуру...

— Какъ вы не замѣтили, одѣваясь, что у васъ осталась веревка? постойте, постойте, будьте терпѣливымъ и позвольте мнѣ ее вамъ развязать.

— А чортъ бы ее побралъ!—выругался

тотъ, кого звали Скрипицынымъ и сорвавъ со своей шеи сѣрую свившуюся игрушечную змѣю, шагнулъ съ тротуара на мостовую, направляясь къ Невѣ...

— Куда вы, г. Скрипицынъ?—съ поддѣльнымъ страхомъ и таинственно спросилъ Секретаревъ.

— Что бы бросить ее въ воду.

— Ну что? утонула?.. — спросилъ вскорѣ подойдя къ гранитному выступу, другой.

— Вотъ видите: поплыла,—печально отвѣтилъ первый.

— Да... да вижу... Вы что же, невинно осужденный будете?..

— Кто, я то?..—обидѣлся Скрипицынъ и, отвернувшись отъ Невы, съ гордостью отвѣтилъ: ну нѣтъ!

Пріатели заковыляли дальше,—и какой то тряской походкой, будто готовые въ любую минуту цѣликомъ разсыпаться въ мелкій дребезгъ...

Сильный вѣтеръ, взвивая и стоня гдѣ то подъ облаками, гасилъ газовые фонари, попрокинулъ нѣсколько городскихъ мусорныхъ



ящичковъ и носилъ по всей набережной и по дворцовой площади промоклый мусоръ...

Свернувъ на дворцовую площадь, одинъ изъ скелетовъ закрихтѣлъ, закашлялся, потомъ пройдя нѣсколько шаговъ, вдругъ, казалось, ни съ того, ни съ сего, началъ браниться и плевать...

— Что съ вами, г. Скрипицынъ?—спросилъ его съ чисто прихиндейскимъ участіемъ пріятель.

— Да вотъ, colega Секретаревъ,—отвѣчалъ раздумчиво и прислушиваясь къ своимъ словамъ, Скрипицынъ—вотъ только не знаю, какъ все это вамъ формулировть, подѣлится съ вами сжато въ двухъ словахъ. Боюсь я, что опять выйдетъ изъ всего этого только чепуха одна!..—понимаете?

— Ну еще бы-съ, понимаю.

— Какъ въ легендѣ русской господина Афанасьева „объ Ноѣ праведномъ“—

Вдругъ господинъ Скрипицынъ простеръ передъ собою обѣ руки и вскричалъ, зажмурясь.

— Тьма, тьма! тьму вижу, colega Секретаревъ. И больше ни шиша, — заключилъ онъ болѣе спокойно.

Взлетѣвшія отъ его крика проснувшіяся вороны съ карканьемъ сбросили на горбившагося и тайно похихикивавшего Секретарева нѣсколько обломленныхъ сучьевъ.

— Зачѣмъ же-съ такъ строго?—счелъ долгомъ, какъ бы робѣя, возразить онъ.

— Есть и блондиночки—онѣ такъ пріятно потѣются-съ—потомъ покрываются, потомъ,—пояснилъ онъ.

— И еще сто разъ умирать—взвopilъ Секретаревъ на манеръ трагика въ королѣ Лирѣ.

— Проносить повсюду заскорузлую чешую грѣховъ на себѣ.

— Есть жгучія брюнеточки—съ аппетитомъ щебеталъ Секретаревъ.

— И здѣсь ничего не узнаешь. Все мерзость одна!—Толстолобые „химики“ все пытаются измѣрить циркулемъ, саженью, и сантиметромъ... Плевое дѣло.

— А знаете, я вспотѣлъ,—вдругъ радостно объявилъ Секретаревъ.

— Ну, хвастуйтесь.

— Право вспотѣлъ,—вотъ посмотрите!

— Это у васъ просто испарина, собственно говоря, могильная гниль,—спокойно констатировалъ Скрипицынъ, пощупавъ голую кисть Секретарева.

— Тоже нашли чѣмъ, хвастаться!

— Я... я вѣдь свѣженькій въ сравненіи съ вами,—погрозилъ пальчикомъ Секретаревъ.

— Вотъ у меня даже волосики еще есть, я ихъ сегодня набріюлинилъ. Вотъ посмотрите,—и онъ суетно снялъ со своего голаго черепа цилиндръ...

— Этой весной я еще распространялъ запахъ...

— Ну хорошо, поторопимся на засѣданіе.

## II.

### Очередное засѣданіе клуба благотворительныхъ скелетовъ.

— Тфу, тфу,—отплевывался старый скелетикъ, остановившись передъ широкой лѣстницей, по обѣимъ сторонамъ убранной зеленью.



На стѣнахъ были наклеены большія афиши кинематографа „Уютной Уголокъ“, въ которыхъ стояло:

Разбитая Ваза, шикарная драма по изв. стихотворенію великаго г. Апухтина.

„Адски хорошенькая!!!“

Пикантная мініатюрка“.

Старый скелетикъ повертывалъ свой голый, непокрытый шляпой, черепъ съ глубокими черно-коричневыми впадинами вмѣсто глазъ, то на одну афишу—то на другую. Одѣтъ онъ былъ въ старинную зеленую накидку съ рукавами и пелеринкой. Въ позеленѣвшихъ костяшкахъ рукъ онъ крѣпко держалъ облѣзлую трость съ испорченнымъ компасомъ, вправленнымъ въ набалдашникъ, и любилъ разговаривать только съ самимъ собою, при случаѣ вслухъ.

— Тьфу, тьфу! весьма не миловидное помѣщеніе, иного не могли пріискать! тьфу..

— Всѣ мы здѣсь были, высокочтимый г. букинистъ,—пророкоталъ пессимистическимъ басомъ высокій скелетъ въ клѣтчатомъ пальто въ обтяжку, галстухомъ повязаннымъ артисти-

ческимъ бантомъ и въ широкополой шляпѣ, неожиданно появившись въ вестибюлѣ и прочно прикрывая за собою дверь въ сѣни.

— Этотъ домъ, милостивый государь, нѣкогда былъ хорошимъ домомъ и принадлежалъ нашему высокочтимому предсѣдателю, послѣ чего перешелъ въ руки его наслѣдниковъ, которые его и продали нагло кучкѣ грязныхъ спекулянтовъ, теперь приспособившихъ его подъ такъ называемый „электрическій театръ“.

Скелетикъ въ крылаткѣ надменно молчалъ.

— Въ этомъ помѣщеніи кромѣ кинематографа разыгрываютъ еще фарсы съ полураздѣваніемъ для молодежи и съ совершеннымъ—это для старичковъ, такихъ, какъ мы съ вами...—сѣстрилъ и самъ громко разсмѣялся скелетъ въ широкополой шляпѣ.

Старичекъ въ крылаткѣ только покосился на него.

Зала, въ которую онъ вошелъ, кишѣла по бальному разряженными и разфуфыренными мертвецами. Съ высокаго потолка низко свѣ-

шивались три огромной тяжести большія зажженные сверкающимъ хрусталемъ люстры...

Въ концѣ залы занавѣсъ былъ поднять и впереди сцены безъ декорацій съ одними бѣлыми стѣнами стоялъ большой столъ. Позади свѣшивались веревки и свернутыя полотна, колонны и простѣлочные зеркала.

Въ залѣ шумѣли, слышался свистъ и взвизги...

— Ахъ сударыня, какъ очаровательно изъ вашего ротика мхомъ пахнетъ...

— Дурной вкусъ развиваетъ дурную вѣру, дурные характеры и въ цѣломъ дурныхъ людей...

--- Совѣтуете не увлекаться пошлостью?

— Геніями?

— Простите, очаровательная, я не вижу вашего лица. Отъ вашихъ аквамариновъ, сапфировъ, опаловъ исходитъ столько сіянія, отъ вашего наряда столько волнующихъ ароматовъ, и отъ вашихъ костей столько сладострастного опьяненія! Я не въ силахъ превозмочь страсти... Я дрожу... О, избранная, я еще свѣженькій я...



— Любопытно знать, г. философъ, какъ вы отличаете геній отъ диллетантизма, хорошій вкусъ отъ дурного и прочее?

— Смотрите, смотрите, вотъ тотъ, кто продалъ правую ногу господина Дидро въ коллекцію присяжному повѣренному...

— Я, я, право...

— Жуликъ...

— Самоѣдъ...

— Чайникъ...

— Касательно вышеупомянутаго...

— Декретно.

— Скарлатина!

— Я не привыкла отвѣчать тому, у кого нѣтъ денегъ. Деньги усиливаютъ чувственность... вамъ понятно?...

— Отстань! послушай, отстань, а, послушай отстань! охота тебѣ связываться! она даже съ законнаго мужа брала по десяткѣ... И иначе не отвѣчала на его поцѣлуи, какъ сжимая подъ подушкой деньги..

— А когда у него ихъ не было?

— Онъ про запасъ имѣлъ фальшивыя...

— А—а!

— У васъ слезы?... Господа, вотъ замѣчательно!..

— Тише, ну зачѣмъ?... Я атропинъ впускаю по привычкѣ; это мнѣ доставляетъ необыкновенное удовольствіе.

За всѣмъ и всѣми недовольнымъ скелетомъ, осанкою и манерою держаться похожимъ на кислаго сановника всюду слѣдомъ волочился маленькій прихидней, имѣвшій свойство влюбляться только въ того, кто получалъ чье либо одобреніе, обезьяна, восторженный сплетникъ. Онъ прихрамывалъ и косилъ по старой привычкѣ...

У колонны, чувствуя себя во всякомъ обществѣ нѣсколько приниженнымъ, стоялъ, прислонившись, бывшій гувернеръ, французъ, нѣкогда страдавшій подагрою и хроническими зубными болями, обжора; про него рассказывали, что за обѣдомъ онъ изъ подъ носа у своего воспитанника выхватывалъ всѣ блюда съ приговоркой „Ти эти не лубишь, Жанъ?“ которую онъ умѣлъ произносить съ неподражаемой заботливостью добраго воспитателя.

Почти всѣ держались непринужденно, шутили, остроумничали, дѣти, тѣ даже пробовали танцовать, но послѣ того, какъ на нихъ прикрикнулъ, погладивъ свою бывшую бороду, одинъ злой дядя въ косовороткѣ и смазныхъ сапогахъ, скелеть, Богъ вѣсть, какъ здѣсь очутившагося бывшего редактора нѣкоего идейнаго журнала, они присмирѣли и только усиленнѣй стали переихикиваться изъ за колоннъ, изъ за ногъ и юбокъ старшихъ.

Въ самомъ разгарѣ этого оживленія вдругъ погасли большія люстры и освѣщать залу остались боковые красные фонари и три или четыре тусклыхъ бра. Тутъ зажглась рампа и освѣтила столъ, стѣны, веревки и свѣшивавшіяся кусками декораціи такъ ярко, что видна была грязь, паутина и несмѣтная рать, прежде сбившихся въ кучи, теперь же торопившихся разползтись по угламъ и дырамъ черныхъ и рыжихъ таракановъ.

Въ наступившей тишинѣ продребезжалъ глухо и отдаленно, печально, на высокой нотѣ электрическій звонокъ, и на сцену, послѣ нѣкотораго молчанія, вышли три тощихъ скелета;



двое въ обвисавшихъ фракахъ и третій, самый маленькій, въ длиннополомъ до пять сюртукъ, но въ бѣломъ галстухъ бальнымъ бантикомъ. Этотъ послѣдній неожиданно занялъ предсѣдательское мѣсто и обведя глухо шикающую темную залу своими недоумѣвающими впадинами, углубился въ разложенныя на столѣ передъ нимъ бумаги. Двое другихъ откашлялись и наклонились къ нему въ ожиданіи.

Внизу у барьера, сбившись въ кучу, скелеты вытягивали шейные позвонки, стучали костями и щелкали какъ аисты, удлинненными челюстями.

— Ни, ни, ни, — вдругъ издалъ троекратный высокій носовой звукъ, поднявъ свой черепъ, предсѣдатель и двое его помощниковъ тотчасъ вздрогнули и пріосанились.

— Вдова Сверчкова?..

— Я, я... я тутъ!

— Потрудитесь войти за барьеръ и подняться на возвышеніе для капельмейстера.

Взошелъ и остановился на возвышеніи скелетъ вдовы въ старомодномъ платьѣ со вздернутой къ верху юбкой, въ большихъ башма-

кахъ съ бугрышками отъ бывшихъ нѣкогда мозолей.

— Не, не, не,—вновь отрывисто прогна-  
савиль предсѣдатель своимъ не выразитель-  
нымъ носовымъ голосомъ.

— Ваша биль поручень молотой челофекъ  
ваша племянникъ,—фи опясанъ биль не допу-  
скать ефо къ ефо горнишна! исполниль фи  
это?..—проговориль простуженно, но доста-  
точно торжественно второй товарищъ предсѣ-  
дателя; первый товарищъ сейчасъ же поспѣ-  
шилъ перевести все вышесказанное:

— Вдова Сверчкова, вамъ было поручено  
помѣшать пра-правнуку вашему, студенту во-  
сточнаго факультета вступить въ грѣховную  
связь съ собственной служанкой... Общество  
васъ спрашиваетъ, что вы предприняли на  
сей счетъ?..

Вдова Сверчкова, повидимому, очень многое  
предприняла на сей счетъ, потому что она  
приготовилась къ длинному разсказу: вознесла  
торжественно обѣ свои руки на грудь и всту-  
пительно задвигала челюстями...

Всѣ приготовились слушать.

— Ну?—произнесъ первый товарищъ.

Челюсти вдовы продолжали двигаться и пощелкивать, но все еще, казалось, вступительно, потому что пока оттуда не вылетало еще ни одного звука.

Столпившіеся у барьера ужъ всячески пробовали выразить свое участіе, какъ изъ насквозь дыряваго рта вдовы вырвалось наконецъ слабое старческое восклицаніе:

— Господа члены и господинъ предсѣдатель, я сама потеряла свою невинность!

— Ни, ни, ни, ни, ни,—замоталъ на всѣхъ огромнымъ черепомъ предсѣдатель.

— Призываю всѣхъ къ молчанію,—закричалъ грозно, приподнявшись, первый товарищъ.

Вдова послѣ молчанія передъ тѣмъ, какъ заговорить, снова долго упражняла свои челюсти...

— Я не виновата, господа, я право не виновата, все это востокѣденіе и египетскія царицы...

— Тише!

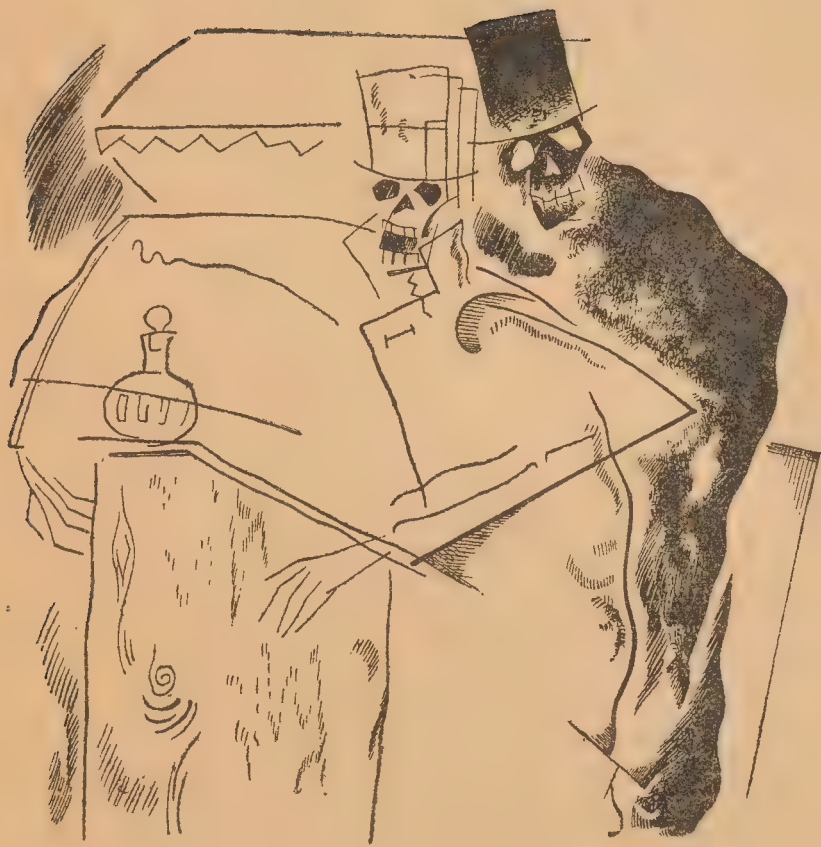


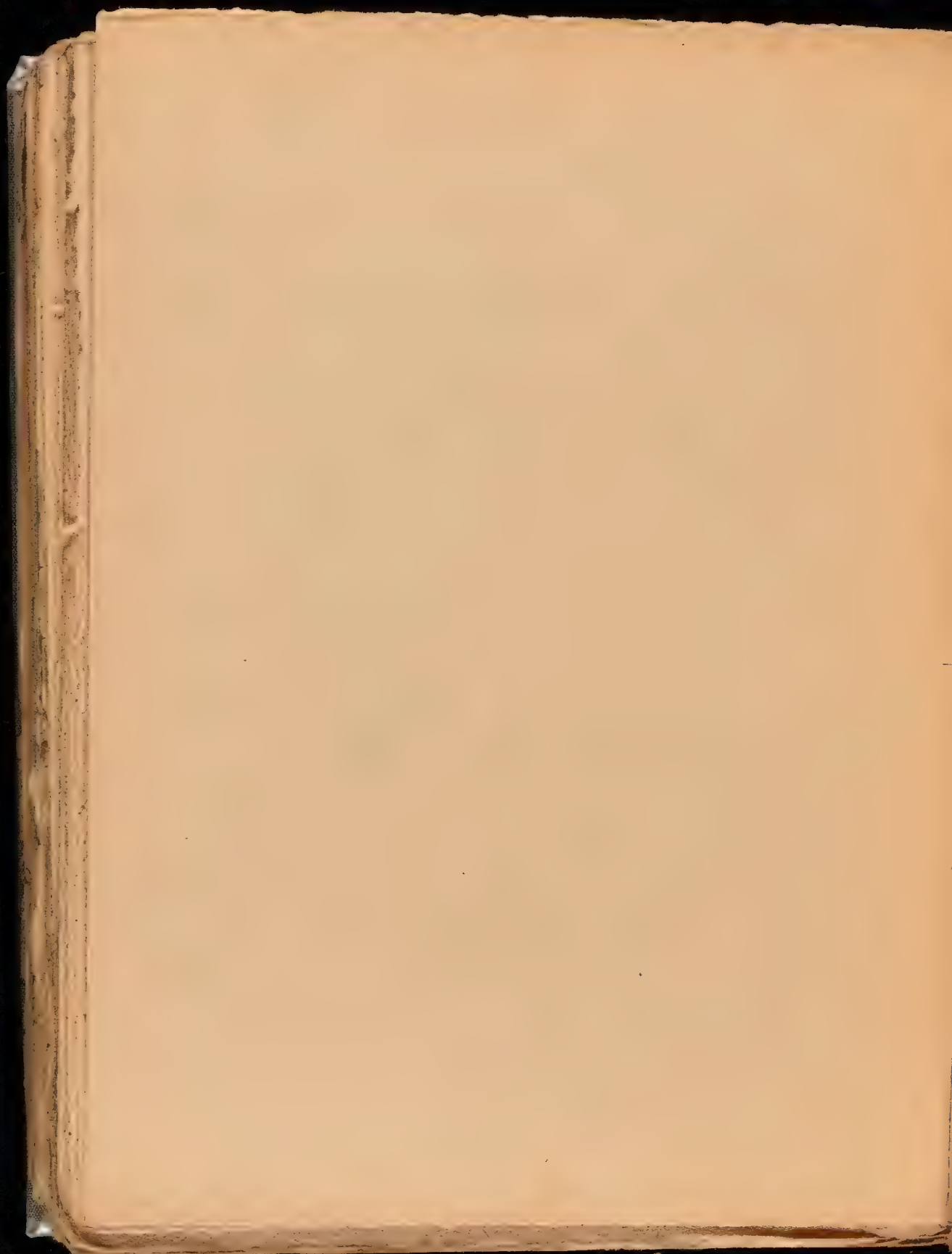
— Я говорю, египетскія царицы... потому что, видите ли, съ горничной то этой самой я прекрасно сошлась, на счастье она оказалась дѣвушкой очень честной и безкорыстной. Я ей разъяснила все положеніе вещей все какъ слѣдуетъ быть, и она въ ту, роковую для меня, ночь уступила мнѣ свою кровать, сама пойдя къ сосѣдскому кучеру.

Въ это время кто-то закричалъ высокимъ голосомъ: „пропустите, господа, пропустите“, — и за барьеръ прорвался маленькій скелетикъ въ старинной крылаткѣ съ облѣзлой тростью, въ набалдашникъ которой былъ вправленъ попорченный компасъ. Старенькій скелетикъ взобрался сперва на капельмейстерское возвышеніе и потомъ, перепрыгнувъ оттуда на сцену, остановился передъ столомъ, изъ за котораго поднялись теперь трое засѣдавшихъ.

— Позвольте мнѣ имѣть право голоса! — взволнованно заговорилъ онъ и не дождавшись отвѣта повернулся *en face* къ собранію и началъ:

— Милостивыя государыни и милостивые государи, хотя предметомъ сегодняшняго со-







бранія служить помощь, оказываемая нашими собратьями тѣмъ, что остались въ такъ называемой жизни (къ слову сказать, не стоили бы они вовсе, чтобы поддерживать съ ними какія бы то ни было сношенія), но я не побоюсь признаться, что эта помощь идетъ изъ рукъ вонъ плохо.

— Не, н-н-н...

— Да, да... какъ нельзя хуже, милостивые государи... И я сейчасъ вамъ объясню причины.

При этомъ старенькій скелетъ отступилъ на шагъ, какъ то взволнованно распахнулъ крылатку и переправивъ изъ лѣвой костяшки въ правую свою облѣзшую трость съ попорченнымъ компасомъ, продолжалъ теперь съ ироніей, склонивъ чуть на бокъ голову:

— Прогрессъ!.. цехи, извѣстное зданіе безъ Минервы на правомъ берегу Невы, разныя другія не менѣ прекрасныя зданія, можетъ быть, и ни на какихъ ни на берегахъ и съ болѣе безстыдными Минервами, которымъ не достаетъ стыдливости провалиться, городъ Болонья, помощники регистраторовъ, бѣдныя

швеи, вышивающія академическія пальмы и собранія вродѣ нашего...

Робкіе возгласы недоумѣнія однихъ и взволнованно — нетерпѣливое шипѣніе другихъ.

Скелетикъ дѣлаетъ шагъ впередъ.

— Какъ я понимаю ваше волненіе!.. (говорить быстро). Вы удивлены, поражены, ошеломлены, опрокинуты, не правда ли, не правда ли?..

Онъ поправляетъ на себѣ крылатку и отступивъ теперь уже на цѣлыхъ три шага, опирается лѣвой костяшкой о край стола. Въ эту минуту трое засѣдавшихъ разомъ съ поспѣшностью отступаютъ на безопасное разстояніе.

— Вы горите нетерпѣніемъ? продолжалъ съ разстановкой, начиная увлекаться скелетикъ, — времени мало, а нетерпѣніе ваше все растеть... Буду говорить парадоксально, такъ какъ это самый удобный методъ сказать въ самый короткій срокъ самыя удивительныя вещи, надъ которыми наивные и добросовѣстные люди продумаютъ потомъ всю свою жизнь. Но слѣдите внимательно, иначе вы ни-

чего не поймете. Бойтесь прогресса, бойтесь прогресса... Какъ Катонъ твердилъ о необходимости разрушенія Карфагена, такъ я готовъ ежеминутно повторять: „Бойтесь прогресса!“ Хотя намъ, деликатно выражаясь, „не живущимъ“ нечего было бы, повидимому, его бояться, ибо такъ называемый прогрессъ несетъ съ собою то, что намъ подарено уже самой судьбою—смерть...

Раздался прорѣзывающій и оглушающій свистъ косматаго дяденьки въ смазныхъ сапогахъ...

— Ату, ату его.

— Прогрессъ несетъ съ собою смерть! прокричалъ запальчиво ораторъ скелетикъ, бывшій букинистъ.

.....

— Опять изумленіе, восторгъ, негодованіе. И главное, нетерпѣніе... Слушайте, слушайте. Одно родится отъ другого, но не замыкаетъ круга, какъ въ извѣстномъ стихотвореніи французскаго поэта Климента Марота. Прогрессъ рождаетъ общество, общество — общества, общества—цехи, академіи, общія пра-



вила, общія мѣста, общіе вкусы (всегда плохіе, такъ какъ общіе), общія мѣрки, оцѣнки, словари, энциклопедіи, грамматики, моды, которыя никакъ нельзя считать за движущія силы. Общее—врагъ частнаго почина, движенія, таланта. Кромѣ того прогрессъ (въ ковычкахъ, положимъ) представляетъ изъ себя источникъ общественныхъ должностей никому ненужныхъ слѣдовательно, неестественныхъ (это о регистраторахъ), даже цѣлыхъ сословій...

— До-ло-й-й...

— ...единственное значеніе которыхъ состоитъ въ ихъ общественности. Если они не умѣютъ шить сапогъ, пахать, играть на флейтѣ и сочинять романы, лучше бы мостили мостовыя передъ казенными зданіями, столь милыми ихъ сердцамъ. Общіе вкусы, правила, пріемы—гибель и вредъ всему новому, живому (хе-хе!). Какъ будто намъ на руку, но и покойничкамъ, оказывается, нельзя поступать по мертвецки,—ничего не выходитъ. Притомъ общества лишаютъ прелести почина и дѣйственности не только всякое искусство, но и религію, и добродѣтель, которое тоже—великое искусство...

— Жулики!

— О чемъ онъ, господа? о че..

— Эпикуреецъ...

— Гони...

— Господа,—ораторъ высоко поднялъ свою облѣзлую трость,—покойный, нашъ епископъ Царьграда, который былъ святъ и потому избѣгъ нашей смѣшной участи быть подверженну ночному сплину и толкаться по нелѣпымъ митингамъ и спиритическимъ сеансамъ,—говорилъ, что принимающій милостыню оказываетъ бѣольшую услугу подающему, чѣмъ тотъ ему. Золотыя слова, золотыя слова! Также и поэтъ и художникъ. Но неужели вы думаете, что это говорится о чиновникѣ...

— Я вынужденъ просить васъ, милостивый...—кто-то дохло пропищалъ прерывающимся пискомъ.

— ...о чиновникѣ изъ благотворительнаго общества, посылающаго ордеръ въ участокъ?.. Нѣтъ, только при личномъ починѣ, личной любви, личной милостынѣ почіеть надъ нею тайна и благословеніе. Такъ же и въ искусствѣ и во всемъ. И никогда чиновникъ отъ ака-

деміи, цеха, общества не по́дымется выше мертвенной обезьяны настоящаго искусства. Бойтесь прогресса...

— Милостивый государь,—выступивъ впередъ, протрещаль басомъ второй помощникъ предсѣдателя и положилъ скелетику оратору на плечо свою огромную кисть съ перевившимся какъ у уродливой рѣпы пальцами...

— Намъ ясна, вполне ясна ваша омерзительная платформа...

— И у насъ,—распѣтушившись, во всю кричалъ скелетикъ,—пока будутъ офиціальныя (вотъ слово, вотъ слово) командировки по благимъ дѣламъ, будутъ получаться лишь жалкія фарсы!

На этомъ ораторъ кончилъ свою рѣчь и принялся было восторженно раскланиваться, какъ любимый комикъ, перебѣгая изъ одного конца сцены въ другой, какъ былъ грубо схваченъ за шиворотъ и переброшенъ за кулисы вторымъ товарищемъ предсѣдателя, потерявшимъ отъ переполнивашаго его волненія, бѣшенства и возмущенія всѣ свои благородныя чувства и высоко интеллигентное воспитаніе.



Въ залѣ воцарилось странное молчаніе; всѣ чего то ждали отъ предсѣдателя, съ которымъ въ моментъ этого послѣдняго происшествія сдѣлался острый припадокъ тика, что казалось, было весьма не безопасно для его слабой структуры. Но къ общему благополучію въ этотъ острый по своей неопредѣленной напряженности моментъ, поборовъ свои личные чувства, сравнительно твердой походкой изъ за кулисъ выступилъ второй помощникъ предсѣдателя. И засѣданіе продолжалось.

Вдова Сверчкова съ чрезвычайной готовностью опять появилась на возвышеніи. За нѣсколько минутъ передъ тѣмъ, недоумѣвавшая было, что ей надлежало предпринять, она въ безчувственно любопытствующей раздумчивости слѣдила, какъ маленькая суетливая мышка, какъ бы шая, не безъ лукавства, перебѣгала по впалой вдовьей грудной клѣткѣ, какъ по лѣсенкѣ и по шейному позвонку въ черепъ и какъ маленькая шалунья, то мордочку, то хвостикъ высовывая изъ глазныхъ впадинъ и изъ ноздрей, словно говорила: „а я тутъ“, - „а я тутъ“.

.....

— ...египетскія царицы и востоковѣденіе...

— Мы уже слышали это—рѣзко обрываетъ ее второй предсѣдатель.

— Ближе къ дѣлу и больше сжатости... есть много очередныхъ дѣлъ не меньшей важности...

— къ сосѣдскому, значитъ, кучеру... съ высокимъ сознаніемъ и проч... я возлегла на то грѣховное ложе и вскорѣ къ нему приблизилась самъ господинъ студентъ... тутъ слѣдовалъ не вполне ясный и не совсѣмъ цензурный разговоръ о чувствахъ, впечатлѣніяхъ и о звукахъ, послѣ котораго опять послѣдовала отъ помощника вынужденная просьба о сжатости.—...Такъ что во всемъ господинъ студентъ виноваты, они изволили говорить, что я и съ муміею извѣстной прекрасной египетской царицы имѣю нѣкоторое общество и что кости мои имѣютъ въ себѣ особыя возбуждающіе ароматы...

— Слѣдующій... Потомственный почетный дворянинъ Секретаревъ.

III.

**На думскихъ часахъ минутная  
стрѣлка на пяти, часовая подползаетъ  
къ двѣнадцати.**

Звуки скользящихъ конскихъ копытъ, вздохи рессоръ подъ тяжестью усаживающихся и удаляющійся рокотъ. Чадъ отъ фонарей, что у подъѣзда, первыя рѣдкія и медленныя облатки снѣга кружатся, какъ въ балетной постановкѣ... Пронзительный холодъ безъ вѣтра. Давно увезли всѣ листья, вымели тротуары и дорожки за оградой...

— Помилуйте, такихъ лицъ нѣтъ, какихъ намъ авторъ представлялъ въ своей пьесѣ, — сиплымъ голосомъ говорилъ господинъ въ потертой шубѣ, — разложился, разсыпался, какъ противно! это не иначе, какъ автобіографическія черты.

— Какой ужасъ!.. туберкулезъ, — это уже смерть, при туберкулезѣ нельзя имѣть своихъ мнѣній? нелѣпость!..



Газовый фонарь освѣщаетъ мертвенное лицо молодого человѣка съ зелеными глазами и съ верхнимъ рядомъ порченныхъ зубовъ, сильно выдающихся наружу...

— Что за пьеса? Ложь! Женщины должны всегда показываться прекрасными. Извозчикъ, въ Гродненскій переулокъ!

— Можно подумать, что расходятся послѣ представленія „Ревизора“, или „Горя отъ ума“!..

— Тетя Катя, а мнѣ такъ больше всего понравился воръ: такой душка, такой джентльменъ! ужасно люблю джентльменовъ?

— Ёдемъ, дитя мое Машенька, вы и ножки промочили и личику вашему должно быть холодно, ёдемъ.

Квартира у Машеньки была богатая, въ каждой комнатѣ по кошечкѣ мяукало, и кошечки были не простыя, а ангорскія, съ повязанными яркими цвѣтными бантиками. Много платьевъ было у Машеньки дорогихъ и шикарныхъ, абажурчики на лампахъ съ феями и наядами, ширмочки на окнахъ, рамочки и картинки,—все это было куплено въ аристо-

кратическомъ магазинѣ Александра и въ другихъ не менѣе аристократическихъ магазинахъ столицы...

Машенька, какъ достигла совершеннолѣтія, вступила во владѣніе богатымъ наслѣдствомъ, завѣщаннымъ ей дѣдушкой и о ту пору вмѣстѣ съ нимъ отыскала провалившуюся куда то тетю Катю, подъ присмотромъ которой и обмоблировала свою квартирку. Тетя Катя при этомъ руководствовалась своею памятью, вспоминая обстановки родственныхъ и знакомыхъ домовъ, въ которыхъ ей приходилось бывать.

— Смотрю я это, Машенька, на квартирку нашу, — говорила тетя, — все въ ней, какъ у кума моего, покойнаго полицмейстера, — восхитительно, все въ ней куплено у Александра, какъ и у Авдотьи Михайловны, умнѣйшей женщины, — женою была знаменитаго врача... И вотъ не хватаетъ только къ камину голубого экрана съ саблями, какой былъ у штабсъ-капитана Мыльниковъ, храбраго военнаго, который мнѣ за услуги золоченый съ цвѣточками подстаканникъ подарилъ.

Въ этотъ вечеръ Машенька, какъ только возвратилась изъ театра, даже не развязывая лентъ у шляпы, упала на диванчикъ и вдругъ залилась смѣхомъ, такимъ дробнымъ со взвизгиваніями, смѣхомъ...

Тетя Катя сейчасъ же спросила, съ чего это она такъ развеселилась.

— Я, я,—отвѣчала Машенька,—я, я, ха, ха, ха, хи, хи, хи,.. влюбилась...

— Въ кого же, Машенька? ума не приложу, въ кого, дитя мое милое? Въ Косточкина? вѣтренный человѣкъ и чахоточный. Въ Жеребцова? совсѣмъ бы ничего мужчины, да у него, милочка ты моя, видишь ли, какъ мнѣ Касаткина рассказывала (вѣрить ей, или не вѣрить) болѣзнь нехорошая. Въ Раковкина Колю? такъ у него бѣдненькаго язвочка въ желудкѣ.

— Хи, хи, ха,—заливалась Машенька и наконецъ, вскочивъ съ диванчика, торжественно объявила, что влюбилась во всѣхъ троихъ разомъ. А что больны, такъ это—пустяки: денегъ много,—всѣхъ вылѣчить, всѣхъ купить, всѣхъ обмочить и прикажетъ къ себѣ привести,



потому что—жить хочу, Катенька, жить хочу и не мѣщанской пошлой жизнью, а настоящей, какъ аристократка!. окончила Машенька и закружилась по своей уютной гостиной, гдѣ все было, какъ у кума полицмейстера, а теперь и экранъ съ саблями, какъ у храбраго штабсъ-капитана, который тетѣ Катѣ за услуги подарилъ золоченый съ цвѣточками подстаканникъ.

---

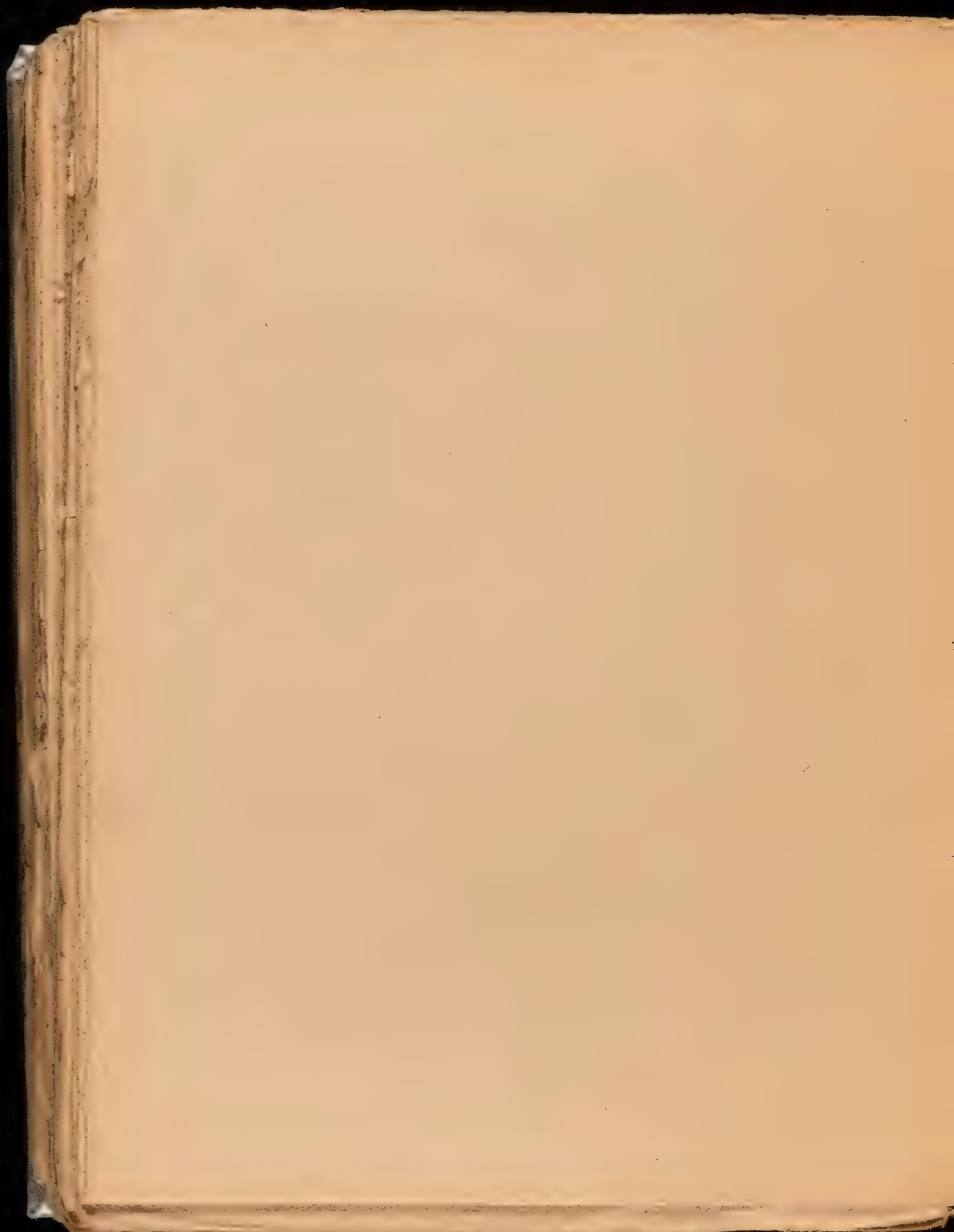
Часовая стрѣлка переползла за двѣнадцать, смиренные труженники уже спали тяжелыми снами: кто храпѣлъ, кто хрипѣлъ, были и такіе, что свистѣли, какъ вскипѣвшіе кофейники. Ихъ окутывали замусоленные одѣяла и сгущенный, удушливый, комнатный воздухъ. На пронизывающемъ холоду въ рѣзкой осенней ясности за рѣшеткой Лѣтняго сада вытянулись къ небу оцѣпенѣлыя, ровныя, какъ на картинахъ раннихъ „примитивовъ“, черныя стволы деревьевъ съ сѣткой, спутанной сложно, какъ у Сомова, хлесткихъ вѣтокъ. Безумный и бездарный поэтъ, остановившись въ боевой позѣ у периль Фонтанки, предался осенней

тоскъ всѣми своими гадкими внутренностями. По Марсовому полю, корчась и горбясь, вышагивали, торопясь, два скелетика: одинъ изъ нихъ былъ, какъ и вначалѣ этого разсказа, знакомый уже намъ Секретаревъ, а другой съ нимъ на этотъ разъ былъ тотъ букинистъ въ крылаткѣ и съ облѣзлой тростью, что на собраніи произнесъ свою геніальную рѣчь, послѣ которой отъ необычайныхъ волненій и сотрясенія лишился разсудка и теперь ужъ окончательно и навсегда.

— Дѣло въ томъ, учитель,—продолжалъ, повидимому, давно начатый разсказъ Секретаревъ,—что эта дѣвочка была очень миленькой дѣвочкой прежде... Я думаю даже, что она имѣла общеніе съ ангелами... словомъ, мистическій это былъ ребенокъ... мистическій, учитель, это вѣрно. Мнѣ кажется, что это опредѣленіе самое лучшее для нея... Представьте себѣ, учитель, осенній день ясный, осенній день, очень, очень ранней осенью... Пожелтѣвшіе листья таинственно шумѣли въ Лѣтнемъ саду. Играла музыка прекрасную „Пиковую даму“... Представьте себѣ, учитель, теперь







маленькую дѣвочку, совсѣмъ маленькую, лѣтъ тринадцати, съ косичками, въ коротенькой юбочкѣ и съ полненькими, аппетитными ножечками хи, хи, хи, хи, хи, не могу-съ удержаться... грѣшный мертвецъ, грѣшный, каюсь... Но хотя мой разсказъ совершенно не нуждается въ сихъ эротическихъ подробностяхъ, я не могу удержаться отъ приведенія оныхъ. Прошу прощенія, учитель. Дѣвочка эта совершенно невиннень... виноватъ, невинная... простая, трогательная дѣвочка... Входитъ въ садъ, переполненный праздничной гуляющей толпой.. Робко пробирается сторонкой сквозь эту толпу (день ясный, ясный и яркое такое солнце, музыка играетъ „Пиковую даму“). Дѣвочка эта торопится отыскать свою маму и дѣдушку, которые ея дожидаются. Вдругъ (почему это дѣлаетъ, не знаетъ) она оборачиваетъ свой взглядъ въ ту сторону, гдѣ садъ выходитъ на Фонтанку и видитъ, тамъ у периль стоитъ двѣнадцать (не больше, не меньше, какъ двѣнадцать) пансіонерокъ въ бѣлыхъ платьицахъ (есть такія пансіонерки,—цѣликомъ въ бѣлыхъ платьицахъ) и тринадцатая—это пожилая дама

наставница, или надзирательница; больше ничего. Музыка играет „Пиковую даму“... Но вотъ необыкновенный моментъ: что то приковало дѣвочку къ этимъ пансіонеркамъ и она остановилась, таращитъ свои невинные глазки на пансіонеровъ, какъ вдругъ всѣ онѣ, словно по чьей нибудь командѣ, обертываются и эта дѣвочка видитъ, что онѣ... что онѣ—слѣпыя, эти пансіонерки,—всѣ до одной слѣпыя. Не правда ли, учитель, все это въ высшей степени странно, почти мистично, не правда ли? Затѣмъ дѣвочка бѣжитъ къ родителямъ. Сцена эта произвела на нее неизгладимое впечатлѣніе, она плачетъ, плачетъ, а ночью она даетъ обѣтъ Боженькѣ, какъ разбогатѣетъ, построить домъ призрѣнія слѣпыхъ... Она знаетъ, что ей оставитъ богатое наслѣдство ея дѣдушка, она плачетъ... хи, хи, хи. Вотъ прошлое теперешней богатой наслѣдницы, торопящейся погрязнуть въ развратѣ. Прошлое—интимное, извѣстное одному ангелу хранителю этой дѣвочки, отъ лица котораго черезъ наше общество, мнѣ и поручено теперь ее предостеречь...



— Общество — врагъ частному почину, общество, цехи — бормочетъ безумный скелетикъ, сжимая крѣпко свою облѣзлую трость.

— А? что вы 'говорите, учитель?.. Такъ вотъ мнѣ препоручено ее предостеречь отъ той жизни, которую она хочетъ вести подъ подстрекательствомъ старой своей тетки, развратницы и сводни... Вотъ ихъ домъ... Учитель, я долженъ предстать передъ нею въ очень жуткомъ видѣ и грозно, глухимъ, загробнымъ голосомъ произнести краткую рѣчь. Глухимъ, загробнымъ же, же, какъ въ романахъ разныхъ пачкуновъ, которые увѣрены, что мы говоримъ глухими и особыми „загробными, голосами. Насъ будто изъ подъ земли слышно... вотъ идея! Я скажу: „Дитя мое, Машенька, тотъ путь, на который ты стала—есть путь мерзкаго разврата и проч. ха, хи хи. Учитель, чтобы мнѣ не было страшно, войдите со мною и въ домъ... Я-съ высоко цѣню вашъ талантливый протестъ противъ всякихъ официальныхъ назначеній... Я вашъ смиренный поклонникъ, великій учитель, но напомню,

вамъ еще разъ, что это мои побужденія, мои добрыя, благородныя побужденія. И отнынѣ я хочу исправиться и вести хорошую смерть.

Тутъ они вошли въ домъ... Секретаревъ, еще будучи на лѣстницѣ, единственно для бѣльшаго эффекта разстегнулъ жилетку, чтобы, по его словамъ, видна была грудная клѣтка...

Достигнувъ требуемой площадки, Секретаревъ французскимъ ключемъ, переданнымъ ему обществомъ, отперъ двери и хотѣлъ уже было галантно впередъ пропустить „учителя“ какъ увидѣлъ, что маленькій скелетикъ, сѣвъ на одну изъ ступенекъ лѣстницы, повидимому, не имѣлъ никакого желанія скоро подняться съ нея. Какъ ни увѣщевалъ его пріятель войти въ комнаты Машеньки, лишившійся ума скелетикъ только усиленно моталъ головою, шепча все тоже: „Общество врагъ частному почину, и пока у насъ будутъ офиціальныя, (вотъ слово, вотъ слово!)“... и такъ до безконечности.

Наконецъ отчаявшись и махнувши на него рукой, Секретаревъ пошелъ къ Машенькѣ одинъ.

Черезъ окно въ спальню Машеньки свѣтила маленькая, но все же достаточно свѣтлая, осенняя луна, теплый воздухъ здѣсь былъ пропитанъ фіалковыми духами, Машенька уже успѣла крѣпко уснуть и что называется, разбросаться во своей кровати, похожей тоже на ту кровать, какая была въ спальнѣ Катинаго кума, полицмейстера.

Секретаревъ сперва отъ растерянности прокашлялся такимъ подобострастнымъ, прихиндейскимъ кашлемъ; потомъ сообразивъ, что такъ онъ можетъ пробудить отъ сна вмѣстѣ и другихъ совсѣмъ ненужныхъ лицъ, возбужденной костьюшкой прикоснулся къ розовому стеганому одѣялу...

Машенька глубоко вздохнула и открыла глаза.

— Дитя мое Машенька,—началь дрожащимъ вмѣсто того, чтобы глухимъ, пискливымъ голоскомъ Секретаревъ.

Она протерла глаза...

— Дорога, которую вы себѣ избрали, — есть презабавненькая, но... но ужасна она, моя милочка, по своимъ послѣдствіямъ.



— Ахъ, какая прелесть!—соннымъ голосомъ воскликнула Машенька.

Секретаревъ растерялся, голосокъ его еще сильнѣе задрожалъ и задрожали съ нимъ вмѣстѣ всѣ связки и костяшки...

— Я пришелъ съ того свѣта...

Машенька взвизгнула, поднялась и сѣла въ кровати.

— Съ того свѣта, я—мертвецъ... продолжалъ Секретаревъ теперь уже совсѣмъ перетрусившимъ голосомъ.

— Ахъ, какой душка! ахъ, какой душка! Тетя Катя, тетя Катя!—восторженно лепетала Машенька.

Тутъ Секретаревъ не выдержалъ больше и рѣшилъ бѣжать.

— Куда вы?!.—кричала ему въ догонку Машенка.

— Тетя, тетя, ко мнѣ забрался воръ, джентльмень: совсѣмъ, какъ изъ романа! душка, воръ джентльмень, обрядился мертвецомъ... поймай его, тетя, слови! я хочу его!..

Будь луна не такъ высоко, вѣрно видно было бы, какъ она смѣялась, когда по Фон-

танкѣ бѣжали два мертвеца, теряя по пути свои кости. Городовые спали и потому не раздавалось никакихъ свистковъ, кругомъ было тихо. Былъ, кромѣ луны, еще одинъ свидѣтель этого состязанія въ бѣгѣ,—молодой кутила съ заломленнымъ котелкомъ, но такъ какъ онъ былъ весьма въ нетрезвомъ состояніи, то онъ и не возымѣлъ желанія ни смѣяться, ни ужасаться. Въ еще началѣ ему показалось, что это были воры, ограбившіе его квартиру, но такъ какъ онъ находился еще въ томъ состояніи, что могъ сообразить, что до его квартиры далеко и что къ тому же есть много другихъ квартиръ побогаче, какъ на примѣръ, у его кредиторовъ, то вполне упокоившись, продолжалъ свой путь дальше.

Сентября 1915 г.

---





## Книгоиздательство „Фелана“.

„Альманахъ Музъ“. 1916 г. Книжныя украшенія С. Чехонина. Цѣна—5 руб., нумеров. экз.—10 руб.

Рюрикъ Ивневъ „Самосожженіе“. Стихи. Обложка Альтмана. Цѣна 2 руб. 70 коп.

А. Д. Скалдинъ „Странствія и приключенія Никодима Старшаго“. Романъ. Обложка Г. Нарбута. Цѣна 3 руб. 50 коп.

М. А. Кузминъ „Гонцы“. 4-ая книга стиховъ. Рисунки А. Яковлева. Печатается.

М. А. Кузминъ „Новый Плутархъ“. Книга жизнеописаній вып. 1-ый. Готовится.

Сергѣй Гедройць „Драконъ“. Китайскіе рассказы. Готовится.

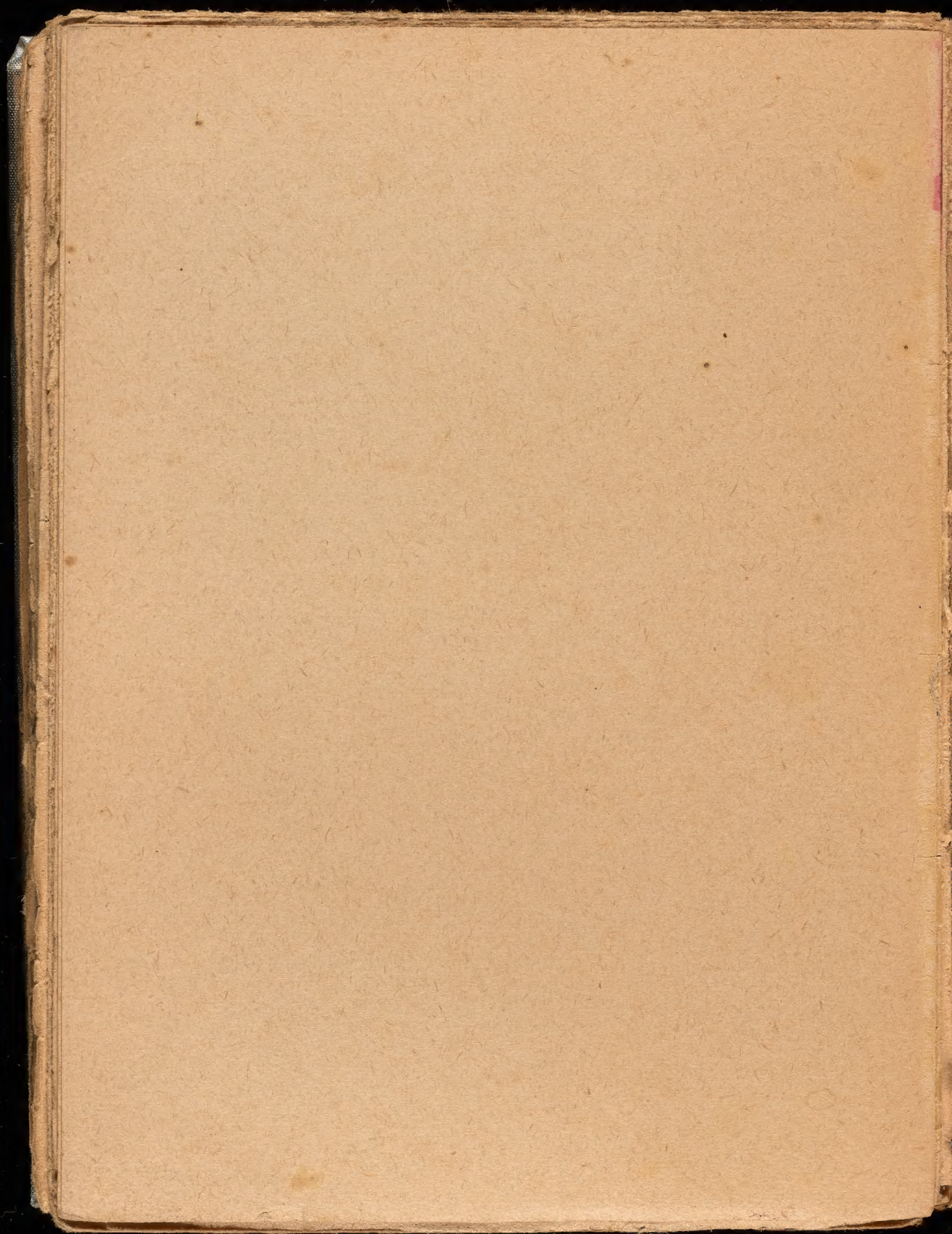
Вл. Пясть „Львиная пасть“. Лирическіе стихи. Готовится.

Г. Ивановъ „Стихи о Петербургѣ“. Рисунки С. Грузенберга. Готовится.

---

Складъ изданій Невскій 55, книжный складъ  
„Земля“.







20 -  
103606 / 575

53-11



